

Аркадий Гайдар

Судьба барабанщика

Когда-то мой отец воевал с белыми, был ранен, бежал из плена, потом по должности командира сапёрной роты ушёл в запас. Мать моя утонула, купаясь на реке Волге, когда мне было восемь лет. От большого горя мы переехали в Москву. И здесь через два года отец женился на красивой девушке Валентине Долгунцовой.

Люди говорят, что сначала жили мы скромно и тихо. Небольшую квартиру нашу держала Валентина в чистоте. Одевалась просто. Об отце заботилась и меня не обижала.

Но тут окончились распределители, разные талоны, хлебные карточки. Стал народ жить получше, побогаче. Стала чаще и чаще ходить Валентина в кино, то одна, то с провожатыми. Домой возвращалась тогда рассеянная, задумчивая и, что там в кино видела, никогда ни отцу, ни мне не рассказывала.

И как-то вскоре — совсем для нас неожиданно — отца моего назначили директором большого текстильного магазина.

Был на радостях пир. Пришли гости. Пришёл старый отцовский товарищ Платон Половцев, а с ним и его дочка Нина, с которой, как только увиделись мы — рассмеялись, обнялись, и больше нам за весь вечер ни до кого не было дела.

Стали теперь кое-когда присылать за отцом машину. Чаще и чаще стал он ходить на разные заседания и совещания. Брал с собой раза два он и Валентину на какие-то банкеты. И стала вдруг Валентина злой, раздражительной. Начальников отцовских хвалила, жён их ругала, а крепкого и высокого отца моего называла рохлей и тряпкой.

Много у отца в магазине было сукна, полотна, шёлку и разных цветных материй.

Долго в предчувствии грозной беды отец ходил осунувшийся, побледневший. И даже, как узнал я потом, подавал тайком заявление, чтобы его перевели заведовать жестяно-скобяной лавкой.

Как оно там случилось, не знаю, только вскоре зажили мы хорошо и весело.

Пришли к нам плотники, маляры; сняли со стены порывелый отцовский портрет с кривыми трещинами поперёк плеча и шашки, ободрали старые васильковые обои и всё перестроили, перекрасили по-новому.

Рухлядь мы распродали старьёвщикам или отдали дворнику, и стало у нас светло, просторно и даже как-то по-необычному пусто.

Но тревога — неясная, непонятная — прочно поселилась с той

поры в нашей квартире. То она возникала вместе с неожиданным телефонным звонком, то стучалась в дверь по ночам под видом почтальона или случайно запоздавшего гостя, то пряталась в уголках глаз вернувшегося с работы отца.

И я эту тревогу видел и чувствовал, но мне говорили, что ничего нет, что просто отец устал. А вот придёт весна, и мы все втроём поедем на Кавказ — на курорт.

Пришла наконец весна, и отца моего отдали под суд.

Это случилось как раз в тот день, когда возвращался я из школы очень весёлый, потому что наконец-то поставили меня старшим барабанщиком нашего четвёртого отряда.

И, вбегая к себе во двор, где шумели под тёплым солнцем соседские ребяташки, громко отбивал я линейкой по ранцу торжественный марш-поход, когда всей оравой кинулись они мне навстречу, наперебой выкрикивая, что у нас дома был обыск и отца моего забрала милиция и увезла в тюрьму.

Не скрою, что я долго плакал. Валентина ласково утешала меня и терпеливо учила, что я должен буду отвечать, если меня спросит судья или следователь.

Однако никто и ни о чём меня не спрашивал. Всё там быстро разобрали сами и отца приговорили к пяти годам, за растрату.

Я узнал об этом уже перед сном, лёжа в постели. Я забрался с головой под одеяло. Через потёртую ткань слабо, как звёздочки, мерцали жёлтые искры света.

За дверью ванной плескалась вода. Набухшие от слёз глаза смыкались, и мне казалось, что я уплываю куда-то очень далеко.

«Прощай! — думал я об отце. — Сейчас мне двенадцать, через пять — будет семнадцать, детство пройдёт, и в мальчишеские годы мы с тобой больше не встретимся.

Помнишь, как в глухом лесу звонко и печально куковала кукушка и ты научил меня находить в небе голубую Полярную звезду? А потом мы шагали на огонёк в поле и дружно распевали твои простые солдатские песни.

Помнишь, как из окна вагона ты показал мне однажды пустую поляну в жёлтых одуванчиках, стог сена, шалаш, бугор, берёзу? А на этой берёзе, — сказал ты, — сидела тогда птица ворон и каркала отрывисто: карр... карр! И вашего народа много полегло на той поляне. И ты лежал вон там, чуть правей бугра, — в серой пыли, где бродит сейчас пятнистый бычок-телёнок и мычит: муу-муу! Должно быть, заблудился, толстый дурак, и теперь боится, что выйдут из лесу и сожрут его волки.

Прощай! — засыпал я. — Бьют барабаны марш-поход. Каждому отряду своя дорога, свой позор и своя слава. Вот мы и разошлись. Топот смолк, и в поле пусто».

Так в полудрёме прощался я с отцом горько и крепко, потому что всё же я его любил, потому что — зачем врать? — был он мне старшим другом, частенько выручал из беды и пел хорошие песни, от которых земля казалась до грусти широкой, а на этой земле мы были людьми самыми дружными и счастливыми.

Утром я проснулся и пошёл в школу. И, когда теперь меня спрашивали, что с отцом, я отвечал, что сидит за обман и за воровство. Отвечал сухо, прямо, без слёз. Потому что два раза подряд искренне с человеком прощаться нельзя!

Отец работал сначала где-то в лагере под Вологдой, на лесозаготовках. Писал часто Валентине письма и, видать, по ней крепко скучал. Потом вдруг он надолго замолк. И только чуть ли не через три месяца прислал — но не ей уже, а мне — открытку; откуда-то с дальнего Севера, из города Сороки. В ней он писал, что его как сапёра перевели на канал. И там их бригада взрывает землю, камни и скалы.

Два года пронеслись быстро и бестолково.

Весной, на третий год, Валентина вышла замуж за инструктора Осоавиахима, кажется, по фамилии Лобачов. А так как квартиры у него не было, то вместе со своей полевой сумкой и небольшим чемоданом он переехал к нам.

В июне Валентина оставила мне на месяц сто пятьдесят рублей и укатила с мужем на Кавказ.

Вернувшись с вокзала, я долго слонялся из угла в угол. И когда от ветра хлопнула оконная форточка и я услышал, как на кухне котёнок наш осторожно лакает оставленное среди неприбранной посуды молоко, то понял, что теперь в квартире я остался совсем один.

Я стоял задумавшись, когда через окно меня окликнул наш дворник, дядя Николай. Он сказал, что всего час тому назад заходил вожатый нашего отряда Павел Барышев. Он очень досадовал, что Валентина так поспешно уехала, и сказал, что завтра зайдёт снова.

Ночь я спал плохо. Снились мне телеграфные столбы, галки, вороны. Всё это шумело, галдело, кричало. Наконец ударил барабан, и вся эта прорва с воем и свистом взметнулась к небу и улетела. Стало тихо. Я проснулся.

Наступило солнечное утро. То самое, с которого жизнь моя круто повернула в сторону. И увела бы, вероятно, кто знает куда, если бы... если бы отец не показывал мне жёлтые поляны в одуванчиках да если бы не пел мне хорошие солдатские песни, те, что и до сих пор жгут мне сердце. И весело мне от них и хорошо. А иной раз и рад бы немножко заплакать, да как-то стыдно, если не с чего.

Первым делом я поставил на примус чайник, потом позвонил в соседний корпус к Юрке Ковякину, которому целый месяц я был должен рубль двадцать копеек; и мне передавали мальчишки, что он уже собирается бить меня смертным боем.

Юрка был на два года старше меня, он носил значок ворошиловского стрелка, но был прохвост и выжига. Он бросил школу, а всем врал, что заочно готовится на курсы лётчиков.

Он вошёл вразвалочку, быстро оглядывая стены. Просунув голову на кухню, чего-то понюхал, подошёл к столу, сбросил со стула котёнка и сел.

— Уехала Валентина? — спросил Юрка. — Та-ак! Значит, ясно: оставила она тебе денег, и ты хочешь со мной расплатиться. Честность люблю. За тобой рубль двадцать — брал на кино — и семь гривен за эскимо — мороженое: итого рубль девяносто, для ровного счёта — два.

— Юрка, — возразил я, — никакого эскимо я не ел. Это вы ели, а я прямо пошёл в темноте и сел на место.

— Ну вот! — поморщился Юрка. — Я купил на всех шесть штук. Я сидел с краю. Одно взял себе, остальные пять вам передал. Очень хорошо помню: как раз Чарли Чаплин летит в воду, все орут, гогочут, а я сую вам мороженое. Да ты, поди, может, увлётся — не заметил, как и проскочило?

— Нет, Юрка, я не увлётся, и ничего никуда не проскакивало. Я тебе семь гривен отдам. Но, наверное, или ты врёшь, или его в темноте кто-нибудь от меня зажулил!

— Конечно, отдай! — похвалил Юрка. — Вы ели, а я за вас страдать должен! Да ты помнишь, как Чарли Чаплин летит в воду?

— Помню.

— А ты помнишь, как только он вылез, верёвка дёрнула — и он опять в воду?

— И это помню.

— Ну, вот видишь! Сам всё помнишь, а говоришь: не ел. Нехорошо, брат! Денег тебе Валентина много ли оставила? Небось пожадничала?

— Зачем «пожадничала»? Полтора ста рублей оставила, — ответил я и, тотчас же спохватившись, объяснил: — Это на целый месяц оставила. Ты думал — на неделю? А тут ещё на керосин, за белёе прачке.

— Ну и дурак! — добродушно сказал Юрка. — Эдакие деньги да чтобы проесть начисто!

Он удивлённо посмотрел на меня и рассмеялся.

— А сколько же надо? — недоверчиво, но с любопытством спросил я, потому что меня и самого уже занимала мысль: «Нельзя ли из оставленных денег сколько-нибудь выгадать?»

— А сколько?.. Поддай-ка мне счёты. Я тебе сейчас как бухгал-

тер... точно! Полкило хлеба на день — раз — это, значит, тридцать раз. Чай есть. Кило сахара на месяц — обопьёшься. Вот крупа, картошка — пустяки дело! Ну, тут масло, мясо. Молоко на два дня кружку. Итого пятьдесят семь рублей, копейки сбросим. Ну ладно, ладно! Не хмурься. Кладу тебе конфет, печенья. Значит, шестьдесят три, керосин — два... Прачке сколько? Десять? Вот они куда идут, денежки! Итого... Итого — живи, как банкир, — семьдесят пять целковых!.. А остальные? Ты, друг, купил бы фотоаппарат у Витьки Чеснокова. Шесть на девять, а светосила!.. Под кровать залезь, и то снимать можно. Он и возьмёт недорого. Хочешь, пойдём сейчас и посмотрим?

— Нет, Юрка! — испугался я. — Я лучше не сейчас, а потом... Я ещё подумаю.

— Ну подумай! — согласился Юрка. — На то и голова, чтобы думать. Два-то рубля давай... Эх, брат, у тебя все пятёрками, а у меня нет сдачи... Ну, потерплю, ладно! А после обеда я забегу снова. Разменяешь и отдашь.

Мне вовсе не хотелось, чтобы Юрка забегал ко мне снова, и я предложил ему спуститься вниз, до магазина вместе. Но Юрка ловко надел свою похожую на блин кепку и нетерпеливо замотал головой:

— И не проси. Некогда! Сижу долблю. Элероны, лонжерон, вибрация, деривация... Самолёт — не трамвай. Чуть недотянул — и пошёл в штопор, чуть перетянул — ещё что-нибудь похуже. То ли ваше дело — пехота!

Он презрительно скривил губы, небрежно приложил руку к козырьку и ушёл. Через минуту в окно я видел, как толстый и седой дворник наш, дядя Николай, со всех ног мчится за Юркой, безуспешно пытаясь огреть его длинной метлой по шее.

...Напившись чаю, я принялся составлять план дальнейшей своей жизни. Я решил записаться в библиотеку и брать книги. Кроме того, у меня были хвосты по географии и по математике.

Прибирая комнаты, я неожиданно обнаружил, что правый верхний ящик письменного стола заперт. Это меня удивило, так как я думал, что ключи от этого стола были давным-давно потеряны. Да и запирать-то там было нечего. Лежали там цветные лоскутья, пара телефонных наушников, наконечник от велосипедного насоса, костяной вязальный крючок, неполная колода карт и клубок шерстяных ниток.

Я потрогал ящик: не зацепился ли изнутри? Нет, не зацепился.

Я выдвинул соседний ящик и удивился ещё более. Здесь лежали залоговая квитанция и облигации займа, десяток лотерейных билетов Осоавиахима, пол флакона духов, сломанная брошка и хрупкая шкатулочка из кости, где у Валентины хранились разные забавные безделушки.

И всё это заперто от меня не было.

От чрезмерного любопытства и бесплодных догадок у меня испортилось настроение.

Я вышел во двор. Но большинство знакомых ребят уже разъехались по дачам. Вздывая белую пыль, каменщики проламывали подвальную стену. Всё кругом было изрыто ямами, завалено кирпичом, досками и брёвнами. К тому же с окон и балконов жильцы вывесили зимнюю одежду, и повсюду тошнотворно пахло нафталином.

Обед готовить мне было лень. Я купил в магазине булку с изюмом, бутылку сидра, кусок колбасы, кружку молока, селёдку и сто граммов мороженого.

Пришёл, съел и затосковал ещё больше. И стало мне обидно, что не взяла меня с собой на Кавказ Валентина. Был бы отец — он взял бы!

Помню, как посадит он меня, бывало, за вёсла, и плывём мы с ним вечером по реке.

— Папа! — попросил как-то я. — Спой ещё какую-нибудь солдатскую песню.

— Хорошо, — сказал он. — Положи вёсла.

Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной,
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листья...
Подожди немного,
Отдохнёшь и ты.

— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой. — Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился:

— Как не солдатская? Ну, вот: это горы. Сумерки. Идёт отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите, — говорит командир, — ещё немного, дойдём, собьём... тогда и отдохнём. .. Кто до утра, а кто и навеки...» Как не солдатская? Очень даже солдатская!

«Отец был хороший, — подумал я. — Он носил высокие сапоги, серую рубашку, он сам колот дрова, ел за обедом гречневую кашу и даже зимой распахивал окно, когда мимо нашего дома с песнями проходила Красная Армия».

Но как же, однако, всё случилось? Вот соседи говорят, что «довела любовь», а хмельной водопроводчик Микешкин — тот, что всегда дарит ребятишкам подсолнухи и ириски, — однажды остановился у нашего окошка, возле которого сидела Валентина, растянул гармошку и на весь двор заорал песню о том, как одни чёрные очи «изгубили» одного хорошего молодца.

Быстро вскочила тогда Валентина. Гневно плюнула, отошла от окна, меня отдернула прочь и, скривя губы, пробормотала:

— Тоже... певец! Пьянчужка. Я вот пожалуюсь на него управдому.

Однако жаловаться управдому на Микешкина было бесполезно. Во-первых, жаловались на него уже сто раз. Во-вторых, пьяный он никого не задевал, а только вопил песни. А в-третьих, в нашем доме жильцы часто без разбора валили и в раковины и в уборные всякий мусор, из-за чего было много скандалов. А Микешкин всегда безропотно ходил, чинил и чистил, в то время как всякий другой водопроводчик давно бы на его месте плюнул.

«Любовь! — думал я. — Но ведь любви и кругом нашего дома немало. Вот напротив, возле шахты метро, стоят часовые, и у них, может быть, тоже есть какая-нибудь красивая. А вон в общежитии живут лётчики, и у них, наверное, есть тоже. Однако же от любви ихней винтовки не ржавеют, самолёты с неба не падают, а всё идёт своим чередом, как надо».

Оттого ли, что я долго лежал и думал, оттого ли, что я объелся колбасы и селёдки, у меня заболела голова и пересохли губы. И на этот раз я уже сам обрадовался, когда звякнул звонок и ко мне ввалился Юрка.

В одну минуту мы вылетели на улицу. Дальше всё пошло колесом. В этот же день я купил у монтера Витьки Чеснокова за семьдесят пять рублей фотоаппарат. И в этот же день к вечеру на Пушкинской площади Юрка подвёл меня к трём задумчивым молодцам, которые терпеливо рассматривали рекламную витрину кино.

— Знакомся, — сказал Юрка, подталкивая меня к мальчишкам. — Это Женя, Петя и Володя, из восемнадцатой школы. Огонь-ребята, и все, как на подбор, отличники.

«Огонь-ребята» и «отличники» — Женя, Петя и Володя, — как по команде, повернулись в мою сторону, внимательно оглядели меня, и, кажется, я им чем-то не понравился.

— Он парень хороший, — отрекомендовал меня Юрка. — Мы с ним заодно, как братья. Отец в тюрьме, а мачеха на Кавказе.

«Огонь-ребята» молча поклонились мне, а я чуть покраснел: «Мог бы, дурак, про отца помолчать, — хорош гусь, скажут товарищи».

Однако новые товарищи ничего не сказали, и, посоветовавшись, мы все впятером пошли в кино.

Вернувшись домой, я узнал от дворника, дяди Николая, что опять заходил вожатый Павел Барышев и крепко-накрепко наказывал, чтобы я завтра же зашёл к нему на квартиру, так как у него ко мне есть дело.

Однако на следующий день к Барышеву я не зашёл.

Утром меня поджидал первый удар.

Наскоро позавтракав, я помчался с фотоаппаратом в магазин покупать пластинки. И там мне сказали, что хотя аппарат и исправный, но это не шесть на девять, марка старая, и пластинок такого размера в продаже нет и не бывает. Взбешённый, я помчался разыскивать Юрку. Но его ни у себя дома, ни во дворе не было, а попался он мне на глаза только к вечеру, когда, усталый и обессиленный от поисков и расспросов, я уже с трудом ворочал языком.

— Экая беда! — пожалел меня Юрка. — Так-таки говорят, что нет и не бывает?

— Так-таки нет и не бывает! — с отчаянием повторил я. — Да что ты притворяешься, Юрка! Ты всё и сам знал раньше.

— Ну вот, знал! Что я, фотограф, что ли? Кабы ты меня про аэроплан спросил — это другое дело: фюзеляж, пропеллер, хвостовое управление... Дёрнул ручку на себя — он вверх пошёл, двинул вперёд — он книзу А фотографии — это для меня не люди... а тьфу! То ли дело лётчики!..

— Юрка, — попросил я, — давай пойдём к Витьке Чеснокову, пусть он тогда забирает аппарат, а деньги отдаст обратно!

— Что ты! Что ты! — удивился Юрка. — Да у него и денег-то давно уж нет! За тридцатку он вчера купил балалайку, сколько-то отдал жене, сколько-то теще. Ну, может быть, какая-нибудь пятёрка осталась. Нет, брат, ты уж лучше терпи.

Горе моё было так велико, что я едва удержался от того, чтобы не брякнуть фотоаппарат о камни. Юрка заметил это и надо мной сжалился.

— Друг я тебе или нет? — воскликнул он, ударяя себя кепкой о колено.

— Конечно, нет... то есть, конечно, друг... И тогда... что мы делать будем?

— А коли друг, так пойдём со мной! Я тебя из беды выручу.

Мы прошли с ним через два квартала в мастерскую, в которой Юрка, надо думать, бывал не раз, и здесь, едва глянув на мой (очевидно, уже им знакомый) фотоаппарат, мне сказали, что можно переделать на шесть и девять. Цена — сорок рублей, задаток — десять.

— Выкладывай, — торжествующе сказал Юрка. — То-то вас, дураков, учи да учи, а спасибо и не дождёшься!

— Юрка, — спросил я, — а где же я потом возьму остальную тридцатку?

— Наберёшь! Наскребёшь понемножку, а нет, так я за тебя аппарат выкуплю. Себе возьму, а ты накопишь денег, мне отдашь, — он тогда, аппарат, опять твой будет!

С тяжёлым сердцем заплатил я десять рублей и понуро побрёл к дому.

— Не скучай, — посоветовал мне на прощание Юрка. — Ты по вечерам садись на шестой или на метро и кати чуть что в Сокольники — там мы гуляем весело.

Дома в ящике для почты я нашёл от Барышева записку. В ней он ругал меня за то, что я не зашёл, и наказывал, чтобы я немедленно сообщил адрес Валентины начальнику подмосковного пионерского лагеря, куда они хотят позвать меня, чтобы я там побыл до Валентининогo приезда.

Я, конечно, обрадовался, но... то не было чернил, то конверта, и адрес я послал только дня через четыре.

А тут беда пришла новая.

Как там на счётах прикидывал Юрка: кило да пол кило — это его дело, но деньги, которых и так осталось мало, таяли с быстротой, совсем непонятной.

С утра начинал я экономить. Пил жидкий чай, съедал только одну булочку и жадничал на каждом куске сахара. Но зато к обеду, подгоняемый голодом, накопал я наспех совсем не то, что было надо. Спешил, торопился, проливал, портил. Потом от страха, что много истратил, ел без аппетита и, наконец, злой, полуголодный, махнув на всё рукой, мчался покупать мороженое. А потом в тоске слонялся без дела, ожидая наступления вечера, чтобы умчаться на метро в Сокольники.

Странная образовалась вокруг меня компания. Как мы веселились? Мы не играли, не бегали, не танцевали. Мы переходили от толпы к толпе, чуть задевая прохожих, чуть толкая, чуть подсмеиваясь. И всегда у меня было ощущение: то ли мы за кем-то следим, то ли мы что-то непонятное ищем.

Вот «огонь-ребята» улыбнулись, переглянулись. Молчок, кивок, разошлись, а вот и опять сошлись. Был во всех их поступках и движениях непонятный ритм и смысл, до которого я тогда не доискивался. А доискаться, как теперь я вижу, было совсем и не трудно.

Иногда к нам подходили взрослые. Одного, высокого, с крючковатым облупленным носом, я запомнил. Отойдя в сторонку, Юрка отвечал ему что-то коротко, быстро и мял руками свою клетчатую кепку. Возвратясь к нашей компании, он вытер платком взмокший лоб, из чего я заключил, что этого носатого даже сам Юрка побаивался.

Я спросил у Юрки:

— Кто это?

— Это артист, — объяснил мне Юрка. — Он двоюродный брат Шаляпина и женат на дочери начальника милиции, которая мне приходится тёткой. Во время пожара он потерял голос, но ему выхлопотали пенсию, чтобы он приходил сюда пить нарзан и успокаивать свои нервы.

Я посмотрел на Юрку: не смеётся ли? Но он смотрел мне в глаза прямо, почти строго и совсем не смеялся.

В тот же вечер, попозже, меня угостили пивом. Стало весело. Я смеялся, и все кругом смеялись тоже. Подсел носатый человек и стал со мной разговаривать. Он расспрашивал меня про мою жизнь, про отца, про Валентину. Что молол я ему — не помню. И как я попал домой — не помню тоже.

Очнулся я уже у себя в кровати. Была ночь. Свет от огромного фонаря, что стоял у нас во дворе, против метростроевской шахты, бил мне прямо в глаза. Пошатываясь, я встал, подошёл к крану, напился, задёрнул штору, лёг, посадил к себе под одеяло котёнка и закрыл глаза.

И опять, как когда-то раньше, непонятная тревога впорхнула в комнату, легко зашуршала крыльями, осторожно присела у моего изголовья и, в тон маятнику от часов, стала меня баюкать:

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шишь?
Ти-ше!

А котёнок урчал на моей груди: мур... мур... иногда замолкая и, должно быть, прислушиваясь к тому, как что-то скребётся у меня на сердце.

...Денег у меня оставалось всего двадцать рублей. Я проклинал себя за свою лень — за то, что я не вовремя отправил в лагерь кавказский адрес Валентины и теперь, конечно, её ответ придёт ещё не скоро. Как я буду жить — этого я не знал. Но с сегодняшнего же дня я решил жить по-иному.

С утра взялся я за уборку квартиры. Мыл посуду, выносил мусор, вычистил и вздумал было прогладить свою рубаху, но сжёг воротник, начадил и, откашливаясь и чертыхаясь, сунул утюг в печку.

Днём за работой я крепился. Но вечером меня снова потянуло в Сокольники. Я ходил по пустым комнатам и пел песни. Ложился, вставал, пробовал играть с котёнком и в страхе чувствовал, что дома мне сегодня всё равно не усидеть. Наконец я сдался. «Ладно, — подумал я, — но это будет уже в последний раз».

Точно кто-то за мной гнался, выскочил я из дому и добежал до метро. Поезда только что прошли в обе стороны, и на платформах никого не было.

Из тёмных тоннелей дул прохладный ветерок. Далеко под землёй тихо что-то гудело и постукивало. Красный глаз светофора глядел на меня не мигая, тревожно.

И опять я заколебался.

Ай-ай!
Ти-ше!
Слы-шишь?
Ти-ше!

Вдруг пустынные платформы ожили, зашумели. Внезапно возникли люди. Они шли, торопились. Их было много, но становилось всё больше — целые толпы, сотни... Отражаясь на блестящих мраморных стенах, замелькали их быстрые тени, а под высокими светлыми куполами зашумело, загремело разноголосое эхо.

И тут я понял, что этот народ едет веселиться в Парк культуры, где сегодня открывается блестящий карнавал. Тогда я обернулся, перебежал на другую платформу и вскочил в поезд, который шёл в противоположную от Сокольников сторону.

Я подошёл к кассе. Оказывается, без масок в парк никого не выпускали. Сзади напирала очередь, и раздумывать было некогда. Я заплатил два рубля за маску, два за вход и, пройдя через контроль, смешался с весёлой толпой.

Бродил я долго, но счастья мне не было. Музыка играла всё громче и громче. Было ещё светло, и с берега пускали разноцветные дымовые ракеты. Пахло водой, смолой, порохом и цветами. Какие-то монахи, рыцари, орлы, стрекозы, бабочки со смехом пронеслись мимо, не задевая меня и со мной не заговаривая.

В своей дешёвенькой полумаске из пахнувшего клеем картона я стоял под деревом, одинокий, угрюмый, и уже сожалел о том, что затесался в это весёлое, шумливое сборище.

Вдруг — вся в чёрном и в золотых звёздах — вылетела из-за сиреневого куста девчонка. Не заметив меня, она быстро наклонилась, поправляя резинку высокого чулка; полумаска соскользнула ей на губы.

И сердце моё сжалось, потому что это была Нина Половцева.

Она обрадовалась, схватила меня за руки и заговорила:

— Ах, какое, Серёженька, горе! Ты знаешь, я потерялась. Где-то тут сестра Зинаида, подруги, мальчишки... Я подошла к киоску выпить воды. Вдруг — трах! бабах! — труба... пальба... Бегут какие-то солдаты — все в стороны, всё смешалось; я туда, я сюда, а наших нет и нет... Ты почему один? Ты тоже потерялся?

— Нет, я не потерялся, — мне никого не надо. Но ты не бойся, мы обобщем весь парк, и мы их найдём. Постой, — помолчав немного, попросил я, — не надевай маску. Дай-ка я на тебя посмотрю, ведь мы с тобой давно уже не виделись.

Было, очевидно, в моём лице что-то такое, от чего Нина разом притихла и смутилась. Прекрасны были её виноватые глаза, которые глядели на меня прямо и открыто.

Я крепко пожал её руку, рассмеялся и потащил её за собой.

...Мы обшарили почти весь сад. Мы взбирались на цветущие холмы, спускались в зелёные овраги, бродили меж густых деревьев и натыкались на старинные замки. Не раз встречались на нашем пути весёлые пастухи, отважные охотники и мрачные разбойники. Не раз попадались нам навстречу добрые звери и злобные страшили и чудовища.

Маленький чёрный дракон, широко оскалив зубастую пасть, со свистом запустил мне еловой шишкой в спину. Но, погрозив кулаком, я громко пообещал набить ему морду, и с противным шипением он скрылся в кустах, должно быть, выжидать появления другой, более трусливой жертвы.

Но мы не нашли тех, кого искали, вероятно, потому, что тот волшебный дух, который вселился в меня в этот вечер, нарочно водил нас как раз не туда, куда было надо. И я об этом догадывался и тихонько над этим смеялся.

Наконец мы устали, присели отдохнуть, и тут опечаленная Нина сообразила, что она хочет есть, пить, а все деньги остались у старшей сестры Зинаиды. Я счастливо улыбнулся и, позабыв всё на свете, выхватил из кармана бумажник.

— Деньги! А это что — не деньги?

Мы ужинали, я покупал кофе, конфеты, печенье, мороженое.

За маленьким столиком под кустом акации мы шутили, смеялись и даже осторожно вспоминали старину: когда мы были так крепко дружны, писали друг другу письма и бегали однажды тайком в кино.

— Серёжа, — с тревогой заметила Нина, — ты, я вижу, что-то очень много тратишь.

— Пустое, Нина! Я рад. Постой-ка, я куплю вот это...

Отражая бесчисленные огни, сверкая и вздрагивая, подплыла к нашему столику огромная связка разноцветных шаров. Я выбрал Нине голубой, себе — красный, и мы вышли на площадку. Да и все повскакали, ожидая пуска фейерверка.

Крепко держась за руки, мы шли по аллее. Лёгкие упругие шары болтались и хлопали над головами.

Вдруг свет погас, померкли луна и звёзды, потому что ударил залп и тысяча стремительных ракет умчалась и затанцевала в небе.

— Когда я буду большая, — задумчиво сказала Нина, — я тоже что-нибудь такое сделаю.

— Какое?

— Не знаю! Может быть, куда-нибудь полечу. Или, может

быть, будет война. Смотри, Серёжа, огонь! Ты будешь командиром батареи. Ого! Тогда берегитесь... Смотри, Серёжа! Огонь... огонь... и ещё огонь!

— Что ты бормочешь, глупая! — засмеялся я. — Ну хорошо, я буду командиром батареи, а потом я буду тяжело ранен...

— Но ты же выздоровеешь, — уверенно подсказала Нина.

— Ну хорошо, а потом?

— А потом? — Нина улыбнулась. — А потом... потом... Посмотри, Серёжа, наши шары над головой запутались.

Я вынул нож, обрезал концы бечёвок и взял оба шара в руки.

— Гляди, Нина: голубой шар — это ты, красный — это я. Раз, два... полетели!..

Шары вздрогнули и рванулись к огненному небу.

— Не жалея, — сказал я, — им там хорошо будет. Смотри, Нина, ты летишь, а я тебя догоняю. Вот догнал!

— Но ты сейчас зацепишься за антенну! Правей лети, глупый, правее! Серёжа! Почему это я лечу прямо, а ты всё крутишься да крутишься?

— Ничего не кручусь. Это ты сама вертишься и всё куда-то от меня вбок да вбок. Вот погоди, нарвёшься на ракету и сгоришь. Ага, испугалась?!

Небо ещё раз ослепительно вспыхнуло, и нам хорошо было видно, как два наших шарика дружно мчались в заоблачную высь...

Ракеты погасли. Стало темно. Потом зажглись огни фонарей, и при их свете мы увидели совсем неподалёку от нас сестру Нины Зинаиду и всю их компанию.

Пора было расставаться.

— Нина, — спросил я медленно и обдумывая каждое слово, — можно, я изредка буду тебе звонить?

— Звони! — сказала она. — Дай карандаш, я запишу тебе наш телефон. У нас теперь новый.

Я дал.

— Нина, — спросил я, — а если подойдёт к телефону твой отец и спросит, кто звонит? То сказать как?

— Так и скажи, что ты звонишь.

Она подумала и уже твёрдо добавила:

— Да, да, так и скажи! Отец Валентину не любит, но о тебе он всегда спрашивает.

Вот она попрощалась, побежала к сестре, и, по-видимому, между ними сейчас же вспыхнул спор: кто от кого потерялся. Потом, обнявшись, они пошли по аллее к выходу. Сверкнули ещё раз золотые звёздочки на её чёрном платье, и она исчезла.

...Ей тогда было тринадцать — четырнадцатый, и она училась в шестом классе двадцать четвёртой школы.

Её отец, Платон Половцев, инженер, был старым другом моего отца.

Когда отца арестовали, он сначала не хотел этому верить. Звонил нам по телефону и обнадеживал, что всё это, наверное, ошибка.

Когда же выяснилось, что никакой ошибки нет, он помрачнел, снял, говорят, со своего стола фотографию, где, опираясь на эфесы сабеля, стояли они с отцом возле развалин какого-то польского замка, и что-то перестал к нам звонить и ходить с Ниной в гости. Да, он не любил Валентину. И он осуждал отца. Я не сержусь на него. Он прямой, высокий, с потёртым орденом на полувоенном френче.

Слава его скромна и высока.

Он дорожит своим честным именем, которое пронёс через нужду, войны, революцию...

И на что ему была нужна дружба с ворами!

...Во дворе мне сказали, что прачка приходила два раза. Бельё оставила у дворника, дяди Николая, а за деньгами (пятнадцать рублей) придёт завтра после обеда.

Я хотел поставить чайник — керосину не было. Хлеба тоже, денег тоже. Но мне на всё наплевать было в этот вечер. Я бухнулся в постель и, не раздеваясь, заснул крепко.

Утром как будто кто-то подошёл и сильно потряхнул мою кровать. Я вскочил — никого не было. Это будила меня моя беда. Нужно было где-то доставать денег. Но где? Что я, рабочий, служащий или хотя бы дворник, как дядя Николай, который, глядишь, тому дров наколот, тому ведро вынес, тому ковёр вытряхнул?..

Однако, зажмурив глаза, я упорно твердил только одно: «Достать, достать... всё равно достать!»

Надо было выкупить фотоаппарат, продать его тут же рядом в скупочный магазин, отдать деньги прачке, а на остаток начинать жить по-новому. Но где взять тридцать рублей на выкуп? И сразу же: «А что же такое, если не деньги, лежит в запёртом ящике письменного стола?»

Конечно, догадливая Валентина не всё взяла с собой на Кавказ, а, наверное, часть оставила дома, для того чтобы осталось на первые расходы по возвращении. Тогда будет всё хорошо. Тогда я подберу ключ, выкуплю аппарат, продам его, отдам деньги прачке, тридцатку положу обратно в ящик, а на остаток буду жить скромно и тихо, дожидаясь того времени, когда меня заберут в лагерь.

Ну до чего же всё просто и замечательно! Но так как, конечно, ничего замечательного в том, чтобы лезть за деньгами в чужой ящик, не было, то остатки совести, которые слабо барахтались где-то в моём сердце, подняли тихий шум и вой. Я же грозно

прикрикнул на них и опрометью бросился к дворнику, дяде Николаю, доставать напильник.

— Зачем тебе напильник? — недоверчиво спросил дворник. — Всё хулиганство! Вечор тоже мальчишка из шестнадцатой квартиры попросил отвёртку, а сам, чертяка, чужой ящик для писем развинтил, котёнка туда сунул, да и заделал обратно. Жиличка пошла газеты вынимать, а котёнок орёт, мяучит. Газету исцарапал да полтелеграммы изодрал от страха. Насилу разобрали. Не то в телеграмме «приезжай», не то «не приезжай», не то «подожди езжать, сам приеду».

— Мне, дядя Николай, такими глупостями заниматься некогда, — сказал я. — У меня радиоприёмник сломался. Ну вот... там подточить надо.

— То-то глупостями не заниматься! Что это к нам во двор этот прощельга Юрка зачестил? Ты, парень, смотри! Тут хорошего дела не будет. Возьми напильник в ящике. Да бельё захвати. Вон за шкапом узел. Прачка в обед за деньгами прийти обещалась. Отец-то ничего не пишет?

— Пишет! — схватив напильник и взваливая на плечи узел, ответил я. — Он, дядя Николай, всё что-то там взрывает... грохает... Я, дядя Николай, расскажу потом, а сейчас некогда.

Отовсюду, где только мог, я собрал старые ключи и, отложив два, взялся за дело.

Работал я долго и упрямо. Испортил один ключ, принялся за второй. Изредка только отрывался, чтобы напиться из-под крана. Пот выступал на лбу, пальцы были исцарапаны, измазаны опилками и ржавчиной. Я прикладывал глаз к замочной скважине, ползал на коленях, освещал её огнём спички, смазывал замок из маслёнки от швейной машины, но он упирался, как заколдованный. И вдруг — крак! И я почувствовал, как ключ туго, со скрежетом, но всё же поворачивается.

Я остановился перевести дух. Отодвинул табуретку, собрал и выбросил в ведро мусор, опилки, сполоснул грязные, замасленные руки и только тогда вернулся к ящику.

Дзинь! Готово! Выдернул ящик, приподнял газетную бумагу и увидел чёрный, тускло поблёскивающий от смазки боевой браунинг.

Я вынул его — он был холодный, будто только что с ледника. На левой половине его рубчатой рукоятки небольшой кусочек был выщерблен. Я вынул обойму; в ней было шесть патронов, седьмого не доставало.

Я положил браунинг на полотенце и стал перерывать ящик. Никаких денег там не было.

Злоба и отчаяние охватили меня разом. Полдня я старался, бился, потратил столько драгоценного времени — и нашёл совсем не то, что мне было надо.

Я сунул браунинг на прежнее место, закрыл газетой и задвинул ящик.

Новое дело! В обратную сторону ключ не поворачивался, и замок не закрывался. Мало того: вынуть ключ из скважины было теперь невозможно, и он торчал, бросаясь в глаза сразу же от дверей. Я вставил в ушко ключа напильник и стал, как рычагом, надавливать. Кажется, поддаётся! Крак — и ушко сломалось; теперь ещё хуже! Из замочной скважины торчал острый безобразный обломок.

В бешенстве ударил я каблуком по ящику, лёг на кровать и заплакал.

Вдруг знакомый протяжный вой донёсся из глубины двора через форточку. Это уныло кричал старьёвщик.

Я вскочил и распахнул окно. Во дворе, кроме маленьких ребятшек, никого не было. Молча поманил я рукой старьёвщика, и, пока он отыскивал вход, пока поднимался, я озирался по сторонам, прикидывал, что бы это такое ему продать.

Вон старые брюки. Вон куртка — локоть порван. А если прибавить коньки? До зимы долго. Вон рубашка — всё равно рукава мне коротки. Футбольный мяч! Наплевать... теперь не до игры. Я свалил всё в одну кучу, вытер слёзы и кинулся на звонок.

Вошел старьёвщик. Цепкими руками он ловко перерыл всю кучу, равнодушно откинул коньки. Крючковатым пальцем для чего-то ещё надорвал дыру на локте куртки, высморкался и сказал:

— Шесть рублей.

Как шесть рублей? За такую кучу всего шесть рублей, когда мне надо тридцать?

Я попробовал было торговаться. Но он стоял молча и только изредка лениво повторял:

— Шесть рублей. Цена хорошая.

Тогда я притащил старые валенки, кухонные полотенца, мешок из-под картошки, отцовские сандалии, наушники от радиоприёмника и облезлую заячью шапку.

Опять так же быстро перебрал он вещи, проткнул пальцем в валенках дыру, отодвинул наушники и сказал:

— Пять рублей.

Как пять рублей? За такую кучу, которая теперь заняла весь угол, — шесть да пять, всего одиннадцать?

— Одиннадцать рублей! — вскидывая сумку, сказал старьёвщик. — Хочешь — отдавай, нет — пойду дальше.

— Постой! — с испугом, который не укрылся от его маленьких жёстких глаз, сказал я. — Ты погоди, я сейчас ещё...

Я пошёл в соседнюю комнату. Старьё больше не подвёртывалось, и я раскрыл платяной шкаф.

Сразу же на глаза мне попала серо-коричневая меховая горжетка Валентины. Что это был за мех, я не знал. Но я уже несколько раз слышал, что она чем-то Валентине не нравится.

Я сдёрнул её с крючка. Она была пушистая, лёгкая и под лучами солнца чуть серебрилась. Стараясь, насколько возможно, быть спокойным, я вынес горжетку и небрежно бросил её перед старьёвщиком на стол.

Стоп! Теперь уже я подметил, как блеснули его рысьи глазки и как жадно схватил он мех в руки!

Теперь цену он сказал не сразу. Он помял эту вещичку в руках, чуть растянул её, поднёс близко к глазам и понюхал.

— Семьдесят рублей, — тихо сказал он. — Больше не дам ни копейки.

«Ого! Семьдесят!» — испугался я, но так как отступить было уже поздно, то, собравшись с духом, я сказал:

— Как хочешь! Меньше чем за девяносто я не отдам.

— Молодой иунуш, — громко сказал тогда старьёвщик, — я не спорю! Может быть, эта вещь и стоит девяносто рублей. Надо даже думать, что стоит. Но вещь эта не твоя, молодой иунуш, и как бы нам с тобой за неё не попало. Семьдесят рублей да одиннадцать — восемьдесят один. Получай деньги — и всё дело.

— Как ты смеешь! — забормотал я. — Это моё. Это не твоё дело. Это мне подарили.

— Я не спорю, — усмехнулся старьёвщик — Я не спорю. Может быть, и есть такой порядок, чтобы молодая девушка носила сапоги и шинель солдатский, но такой порядок, чтобы молодой иунуш носил дамские туфли и меховой горжетка, — такой порядок нет и никогда не было. Бери скорей, иунуш, деньги — и конец делу.

Я взял деньги. Но конец делу не пришёл. Дела мои печальные только ещё начинались.

На другой день я записался в библиотеку и взял две книги. Одна из них была о мальчике-барабанщике. Он убежал от своей злой бабки и пристал к революционным солдатам французской армии, которая тогда сражалась одна против всего мира.

Мальчика этого заподозрили в измене. С тяжёлым сердцем он скрылся из отряда. Тогда командир и солдаты окончательно уверились в том, что он — вражеский лазутчик.

Но странные дела начали твориться вокруг отряда.

То однажды, под покровом ночи, когда часовые не видали даже конца штыка на своих винтовках, вдруг затрубил военный сигнал тревогу, и оказывается, что враг подползал уже совсем близко.

Толстый же и трусливый музыкант Мишо, тот самый, кото-

рый оклеветал мальчика, выполз после боя из канавы и сказал, что это сигналил он. Его представили к награде.

Но это была ложь.

То в другой раз, когда отряду приходилось плохо, на оставленных развалинах угрюмой башни, к которой не мог подобраться ни один смельчак доброволец, вдруг взвился французский флаг и на остатках зубчатой кровли вспыхнул огонь сигнального фонаря. Фонарь раскачивался, метался справа налево и, как было условлено, сигналил соседнему отряду, взывая о помощи. Помощь пришла.

А проклятый музыкант Мишо, который ещё с утра случайно остался в замке и всё время валялся пьяный в подвале возле бочек с вином, опять сказал, что это сделал он, и его снова наградили и произвели в сержанты.

Ярость и негодование охватили меня при чтении этих строк, и слёзы затуманили мне глаза.

«Это я... то есть это он, смелый, хороший мальчик, который крепко любил свою родину, опозоренный, одинокий, всеми покинутый, с опасностью для жизни подавал тревожные сигналы».

Мне нужно было с кем-нибудь поделиться своим настроением. Но никого возле меня не было, и только, зажмурившись, лежал и мурлыкал на подушке котёнок.

— Это я — солдат-барабанщик! Я тоже и одинокий и заброшенный... Эй ты, ленивый дурак! Слышишь? — сказал я и толкнул котёнка кулаком в тёплый пушистый живот.

Оскорблённый котёнок вскочил, изогнулся и, как мне показалось, злобно посмотрел на меня своими круглыми зелёными глазами.

— Мяу! — ответил он. — Ты врёшь, ты не солдат-барабанщик. Барабанщики не лазят по чужим ящикам и не продают старьёвщикам Валентиновых горжеток. Барабанщики бьют в круглый барабан, сначала — трим-тарарам! потом — трум-тара-рам! Барабанщики — смелые и добрые. Они до краёв наливают блюдечко тёплым молоком и кидают в него шкурки от колбасы и куски мягкой булки. Ты же забываешь налить даже холодной воды и швыряешь на пол только сухие корки.

Он спрыгнул и, опасаясь мести, поспешил убраться под диван. И, вероятно, сидел там долго, насторожившись и прислушиваясь: не полез ли я за кочергой или за щёткой?

Но я давно уже крепко спал.

Утром, выбегая за хлебом, я увидел, что дверь с лестницы к нам в квартиру была приоткрыта. И я вспомнил, что, зачитавшись на ночь, это я забыл её закрыть.

А так как голова моя всё время была занята мыслью о предстоящем возвращении Валентины и о расплате за взломанный

ящик, за продажу вещей, то этот пустяковый случай натолкнул меня на такой выход:

«А что, если (не по ночам, это страшно) днём уходить, оставив дверь незапертой? Тогда, вероятно, придут настоящие вору, кое-что украдут, и заодно на них можно будет свалить и все остальные беды».

За чаем я решил, что замысел мой совсем не плох. Но так как мне жалко было, чтобы вору забрали что-нибудь ценное, то я вытер досуха ванну, свалил туда всё бельё, одежду, обувь, скатерть, занавески, так что в квартире стало пусто, как во время уборки перед Первым мая. Утрамбовав всё это крепко-накрепко, я покрыл ванну газетами, завалил старыми рогожами, оставшимися из-под мешков с извёсткой, набросал сверху всякого хлама: сломанные санки, палки от лыж, колесо от велосипеда. И так как ванная у нас была без окон, то я поставил стул на стол и отвинтил с потолка электрическую лампочку.

«Теперь, — злорадно подумал я, — пусть приходят!»

В течение трёх дней я ни разу не запер квартиры на ключ. Но — странное дело! — вору не приходили. И это было тем более непонятно, что у нас в доме с утра до вечера только и было слышно: щёлк... щёлк! Замок, звонок, опять замок.

Запирали дверь, отлучаясь даже на минуту к парадному, к газетным ящикам... В страхе, запыхавшись, возвращались с полпути, чтобы проверить, хорошо ли закрыто.

Кроме дверных, навешивали замки наружные. Крючки, цепочки...

А тут три дня стоит квартира незапертой и даже дверь чуть приоткрыта, а ни один вор не суёт туда своего носа!

Нет! Неудачи валились на меня со всех сторон.

Я получил от Валентины открытку с требованием ответить, всё ли дома в порядке и принесла ли бельё прачка.

И даю слово, что если бы Валентина спросила меня, нет ли у меня какой-нибудь беды, не скучаю ли, или хотя бы прислала простую жёлтую открытку, а не такую, где скалы, орлы, море дразнили и напоминали мне о красивой и совсем не похожей на мою жизни, и если бы даже, наконец, на протяжении коротенького письма ровно трижды она не упомянула мне о прачке, как будто это было самое важное, — то я честно написал бы ей всю правду. Потому что хотя приходилась она мне не матерью и даже теперь не мачехой, но была она всё же человек не злой, когда-то баловала меня и даже иногда покрывала мои озорные проделки, особенно когда я помалкивал и не говорил отцу, кто ей без него звонил по телефону.

И я ответил ей коротко, что жив, здоров, бельё прачка принесла и беспокоиться ей нечего. Я отнёс письмо и, насвистывая, приотпывая (то есть семь, мол, бед — один ответ), поднимался к себе по лестнице.

Котёнок, точно поджидая меня, сидел на лестничной площадке. Дверь, по обыкновению, была чуть приоткрыта. Но стоп! Лёгкий шум — как будто бы кто-то звякнул стаканом о блюдце, потом подвинул стул — донёсся до моего слуха. Я быстро взлетел на пол-этажа выше.

Вор был в нашей квартире!..

Затаив дыхание, я насторожился. Прошла минута, другая, три, пять... Вор что-то не торопился. Я слышал его шаги, когда несколько раз он проходил по коридору близ двери. Слышал даже, как он высморкался и кашлянул.

— Тим-там! Тра-ля-ля! Трум! Трум! — долетело до меня из-за двери.

Было очень странно: вор напевал песню. Очевидно, это был бандит смелый, опасный. И я уже заколебался, не лучше ли будет спуститься и крикнуть дяде Николаю, который поливал сейчас из шланга двор. Но вот за дверьми, должно быть с кухни, раздался какой-то глухой шум. Долго силился я понять, что это такое. Наконец понял: это шумел примус. Это уже не лезло ни в какие ворота! Вор, очевидно, кипятил чайник и собирался у нас завтракать.

Я спустился на площадку. Вдруг дверь широко распахнулась, и передо мной оказался низкорослый толстый человек в сером костюме и жёлтых ботинках.

— Друг мой, — спросил он, — ты из этой, пятнадцатой квартиры?

— Да, — пробормотал я, — из этой.

— Так заходи, сделай милость. Я тебя через окошко ещё полчаса тому назад видел, а ты полез наверх и чего-то прячешься.

— Но я не думал, я не знал, зачем вы тут... поёте?

— Понимаю! — воскликнул толстяк. — Ты, вероятно, думал, что я жулик, и терпеливо выжидал, как развернётся ход событий. Так знай же, что я не вор и не разбойник, а родной брат Валентины, следовательно — твой дядя. А так как, насколько мне известно, Валентина вышла замуж и твоего отца бросила, то, следовательно, я твой бывший дядя. Это будет совершенно точно.

— Она уехала с мужем на Кавказ, — ответил я, — и вернётся не скоро.

— Боги великие! — огорчился дядя. — Дорогая сестра уехала, так и не дождавшись родного брата! Но она, я надеюсь, предупредила тебя о том, что я приеду?

— Нет, она не предупредила, — ответил я, виновато оглядывая

ободранную и неприглядную нашу квартиру. — Когда она уезжала, она, должно быть, растерялась, потому что разбила блюдце и в кастрюльку с кофе насыпала соли.

— Узнаю, узнаю беспечное создание! — укоризненно качнул головой толстяк. — Помню ещё, как в далёком детстве она полила однажды кашу вместо масла керосином. Съела и страдала, крошка, ужасно. Но скажи, друг мой, почему это у вас в квартире как-то не того?.. Сарай — не сарай, а как бы апартаменты уездного мелитопольского комиссара после весёлого налёта махновцев.

— Это не после налёта! — растерянно оправдывался я. — Это я сам всё посодрал и попрятал в ванную, чтобы не пришли и не обокрали воры.

— Похвально, — одобрил дядя. — Но почему же в таком случае парадную дверь ты оставляешь открытой?

На моё счастье, в кухне закипел чайник, и неприятный этот разговор оборвался.

Бывший мой дядя оказался человеком весёлым, энергичным. За чаем он приказал мне разобрать мой склад в ванной, а также сходить к дворничихе, чтобы она перечистила посуду, вымыла пол и привела квартиру в порядок.

— Неприлично, — объяснил он. — Ко мне могут прийти люди, товарищи в боях, друзья детства, — и вдруг такое безобразие!

После этого он спросил, есть ли у меня деньги. Похвалил за бережливость, дал на расходы тридцатку и ушёл до вечера побродить по Москве, которую, как он говорил, не видел уже лет десять.

Я побежал к дворничихе и сказал ей насчёт уборки.

— Дядечка приехал! — похвалился я. — Добрый! Теперь мне будет весело.

— И то лучше, — сказала дворничиха. — Виданное ли дело — оставлять квартиру на несмышлёного ребенка! Дитё — оно дитё и есть. Сейчас умное, а отвернулся — смотришь, а оно ещё совсем дурак.

— Это которые маленькие — дураки, — обиделся я. — А я уже не маленький.

— Э, милый! Бывает дурак маленький, бывает и большой. Моему Ваське шестнадцатый. Раньше в таку пору женили, а он достал железу, набил серой, хлопнул — да вот три недели в больнице отлежал. Хорошо ещё, только лицо ковырнуло, а глаза не вышибло. Да что я тебе говорю: ты, чай, про это дело лучше моего знаешь!

Я что-то промычал и быстро исчез, потому что в Васькином деле была и моей вины доля.

Ловко и охотно помогал я дворничихе убирать квартиру. К ве-

черу стало у нас чисто, прохладно, уютно. Я постлал на стол новую скатерть с бахромой, сбегал на угол, купил за рубль букет полевых цветов и поставил их в синюю вазу.

Потом умылся, надел чистую рубаху и, чтобы скоротать до прихода дяди время, сел писать новое письмо Валентине.

«Дорогая Валя! — писал я. — К нам приехал твой брат. Он очень весёлый, хороший и мне сразу понравился. Он рассказал мне, как ты в детстве нечаянно полила кашу керосином. Я не удивляюсь, что ты ошиблась, но непонятно, как это ты её съела? Или у тебя был насморк?..»

Письмо осталось неоконченным, потому что позвонили и я кинулся в прихожую. Вошёл дядя и с ним ещё кто-то.

— Зажги свет! Где выключатель? — командовал дядя. — Сюда, старик, сюда! Не оступись... Здесь ящик... Дай-ка шляпу, я сам повешу... Сам, сам, для друга всё сам. Прошу пожаловать! Повернись-ка к свету. Ах, годы!.. Ах, невозвратные годы!.. Но ты ещё крепок... Да, да! Ты не качай головой... Ты ещё пошумишь, дуб... Пошумишь! Знакомься, Сергей! Это друг моей молодости! Учёный. Старый партизан-чапаевец. Политкаторжанин. Много в жизни пострадал. Но, как видишь, орёл!.. Коршун!.. Экие глаза! Экие острые, пронизательные глаза! Огонь! Фонари! Прожекторы!..

Только теперь, на свету, я как следует разглядел дядино знаменитого товарища. Если по правде сказать, то могучий дуб он мне не напоминал. Орла тоже. Это дядя в порыве добрых чувств перехватил, пожалуй, лишку.

У него была квадратная плешивая голова, на макушке лежал толстый, вероятно, полученный в боях шрам. Лицо его было покорябано оспой, а опущенные кончики толстых губ делали лицо его унылым и даже плаксивым. Он был одет в зелёную диагональную гимнастёрку, на которой поблёскивал орден Трудового Красного Знамени.

Дядя оглядел прибранную квартиру, похвалил за расторопность, и тут взор его упал на моё неоконченное письмо к Валентине.

Он пододвинул письмо к себе и стал читать...

Даже издали видно мне было, как неподдельное возмущение отразилось на его покрасневшем лице. Сначала он что-то промычал, потом топнул ногой, скомкал письмо и бросил его в пепельницу.

— Позор! — тяжело дыша, сказал он, оборачиваясь к своему заслуженному другу. — Смотри на него, старик Яков!

И дядя резко ткнул пальцем в мою сторону, а я обмер.

— Смотри, Яков, на этого человека — беспечного, нерадивого и легкомысленного. Он пишет письмо к мачехе. Ну, пусть, нако-

нец (от этого дело не меняется), он пишет письмо к своей бывшей мачехе. Он сообщает ей радостную весть о приезде её родного брата. И как же он ей об этом сообщает? Он пишет слово «рассказ» через одно «с» и перед словом «что» запятых не ставит. И это наша молодёжь! Наше светлое будущее! За это ли (не говорю о себе, а спрашиваю тебя, старик Яков!) боролся ты и страдал? Звенел кандалами и взывал чапаевскую саблю! А когда было нужно, то шёл, не содрогаясь, на эшафот... Отвечай же! Скажи ему в глаза и прямо.

Взволнованный, дядя устало опустил на стул, а старик Яков сурово покачал плешивой головой.

Нет! Не за это он звенел кандалами, взывал саблю и шёл на эшафот. Нет, не за это!

— Брось в печку! — с отвращением сказал дядя, показывая мне на скомканную бумагу. — Или нет, дай я сожгу сам.

Он чиркнул спичкой, бумага вспыхнула и оставила на пепельнице щепотку золы, которую дядя тотчас же выкинул на ветер, за форточку.

Подавленный и пристыженный, я возился на кухне у примуса, утешая себя тем, что круто же, вероятно, приходится дядиным сыновьям и дочерям, если даже из-за одной какой-то несчастной ошибки он способен поднять такую бурю.

«Не вздумал бы он проэкзаменовать меня по географии, — опасливо подумал я. — Что-то тогда со мной будет!»

Однако дядя мой, очевидно, был вспыльчив, но отходчив. За чаем он со мной шутил, расспрашивал об отце и Валентине и наконец послал спать.

Я уже засыпал, когда кто-то тихонько вошёл в мою комнату и начал шарить по стене, отыскивая выключатель.

— Кто это? — сквозь сон спросил я. — Это вы, дядя?

— Я. Послушай, дружок, у вас нет ли немного нашатырного спирту?

— Посмотрите в той комнате, у Валентины на полочке. Там йод, касторка и всякие лекарства. А что? Разве кому-нибудь плохо?

— Да старику не по себе. Пострадал старик, помучился. Ну, спи крепко.

Дядя плотно закрыл за собой дверь. Через толстую стену голосов их слышно не было. Но вскоре через щель под дверью ко мне дополз какой-то въедливый, приторный запах. Пахло не то бензином, не то эфиром, не то ещё какой-то дрянью, из чего я заключил, что дядя какое-нибудь лекарство нечаянно пролил.

Прошла неделя. Днём дяди дома не было. К вечеру он возвращался вместе со стариком Яковом, и по большей части тот оставался у нас ночевать.

Однажды утром я сидел в ванной комнате и терпеливо заряжал кассеты для только что выкупленного фотоаппарата.

Тут кто-то позвонил дяде по телефону, и, чем-то встревоженный, он заторопил старика Якова. Я закричал через дверь, чтобы они погодили уходить ещё минуточку, потому что дядя ещё не видел моего фотоаппарата и мне хотелось сейчас же снять обоих друзей, поразив их своим в этом деле искусством. Однако дяде было, как видно, не до меня. Хлопнула дверь. Они вышли.

Минуту спустя я выскочил из ванной и, раздосадованный, шурясь на солнце, заглянул в окно.

Дядя и старик Яков только что вышли за ворота и свернули направо.

Тогда я схватил фотоаппарат и помчался вслед за ними.

«Хорошо, теперь будет ещё интересней! Где-либо на перекрёстке я забегу сбоку или дождусь, пока они остановятся покупать папиросы. Тогда — хлоп! — и готово.

Когда же они вернутся к вечеру, то на столе уже будет стоять их готовая фотография. Под стеклом, в рамке и с надписью: «Дорогому дядечке от такого-то...» Удивление, думал я, и радость будут безмерны.

Долго ловчился я поймать дядю в фокус. Но то его заслоняли, то меня толкали прохожие или пугали трамваи и автобусы.

Наконец-то, на моё счастье, дядя и старик Яков свернули к маленькому скверу возле какой-то церквушки. Сели на скамью и закурили.

Быстро примостился я меж двумя фанерными киосками на пустых ящиках. Поставил выдержку в одну двадцать пятую. Щёлк! Готово! Было самое время, потому что секундой позже чья-то широкая спина заслонила от меня дядю и Якова.

На всякий случай я переменял кассету, снова нацелился. Вот дядя и старик Яков встали. Приготовиться! Щёлк!

Но рука дрогнула, и второй снимок, вероятно, был испорчен, потому что сутулый, широкоплечий человек повернулся, и я удивился, узнав в нём того самого артиста и брата Шаляпина, с которым познакомил меня Юрка и который угощал меня в Сокольниках пивом.

В другое время я бы, вероятно, над таким странным совпадением задумался, но сейчас мне было некогда. И, вскочив на трамвай, я покатил домой, чтобы успеть приготовить к вечеру неожиданный подарок.

В ванной я нечаянно разбил красную лампочку. Тогда, чтобы не перепутать, я сунул обе кассеты со снимками в ящик Валентины и побежал за новой лампой в магазин. Но когда я вернулся, то дядя был уже дома.

Он строго подозвал меня к себе.

В одной руке он держал сломанное кольцо от ключа, другой он показывал мне на торчавший из ящика железный обломок.

— Послушай, друг мой, — спросил он в упор. — Я нашёл эту штучку на подоконнике, а так как я уже разорвал себе брюки об этот торчок из ящика, то я задумался. Приложил это кольцо сюда. И что же выходит?..

Всё рухнуло! Я начал было что-то объяснять, бормотать, оправдываться — сбился, спутался и наконец, заливаясь слезами, рассказал дяде всю правду.

Дядя был мрачен. Он долго ходил по комнате, насвистывая песню: «Из-за леса, из-за гор ехал дедушка Егор».

Наконец он высморкался, откашлялся и сел на подоконник.

— Время! — грустно сказал дядя. — Тяжкие разочарования! Прыжки и гримасы! Другой бы на моём месте тотчас же сообщил об этом в милицию. Тебя бы, мошенника, забрали, арестовали и отослали в колонию. И сестра Валентина, которая теперь тебе даже не мачеха, с ужасом, конечно, отвернулась бы от такого пройдохи. Но я добр! Я вижу, что ты раскаиваешься, что ты глуп, и я тебя не выдам. Жаль, что нет бога и тебе, дубина, некого благодарить за то, что у тебя, на счастье, такой добрый дядя.

Несмотря на то что дядя ругал меня и мошенником, и дубиной, я сквозь слёзы горячо поблагодарил дорогого дядечку и поклялся, что буду слушаться его и любить до самой смерти. Я хотел обнять его, но он оттолкнул меня и выволок из соседней комнаты старика Якова, который там брлся.

— Нет, ты послушай, старик Яков! — гремел дядя, сверкая своими круглыми, как у кота, глазами. — Какова пошла наша молодёжь! — Тут он дёрнул меня за рукав. — Погляди, мошенник, на зелёную диагоналевую куртку этого, не скажу — старого, но уже постаревшего в боях человека! И что же ты на ней видишь?.. Ага, ты замигал глазами, ты содрогаешься! Потому что на этой диагоналевой гимнастёрке сверкает орден Трудового Знамени. Скажи ему, Яков, в глаза, прямо: думал ли ты во мраке тюремных подвалов или под грохот канонад, а также на холмах и равнинах мировой битвы, что ты сражаешься за то, чтобы такие молодцы лазили по запертым ящикам и продавали старьёвщикам чужие горжетки?

Старик Яков стоял с намыленной, недобритой щекой и сурово качал головой. Нет, нет! Ни в тюрьмах, ни на холмах, ни на равнинах он об этом совсем не думал.

Раздался звонок, просунулся в дверь дворник Николай и протянул дяде листки для прописки.

— Иди и помни! — отпустил меня дядя. — Рука твоя, я вижу, дрожит, старик Яков, и ты можешь порезать себе щёку. Я знаю,

что тебе тяжело, что ты идеалист и романтик. Идём в ту комнату, и я тебя сам добрею.

Долго они о чём-то там совещались. Наконец дядя вышел и сказал мне, что сегодня вечером они со стариком Яковом уезжают, потому что до конца отпуска хотят пошататься по свету и посмотреть, как теперь живёт и чем дышит родной край.

Тут дядя остановился, сурово посмотрел на меня и добавил, что сердце его беспокоит после всего, что случилось.

— За тобою нужен острый глаз, — сказал дядя. — И тебя сдерживать может только рука властная и крепкая. Ты поедешь со мною, будешь делать всё, что тебе прикажут. Но смотри, если ты хоть рае попробуешь идти мне наперекор, я вышвырну тебя на первой же остановке, и пусть дикие птицы кружат над твоей беспутной головой!

Ноги мои задрожали, язык онемел, и я дико взвыл от безмерного и неожиданного счастья.

«Какие птицы? Кто вышвырнет? — думал я. — Это добрый-то дядечка вышвырнет! А слушаться я его буду так... что прикажи он мне сейчас вылезть через печную трубу на крышу, и я, не задумавшись, полез бы с радостью».

Дядя велел мне быть к вечеру готовым и сейчас же вместе с Яковом ушёл.

Я стал собираться. Достал бельё, полотенце, мыло и осмотрел свою верхнюю одежду.

Брюки у меня были потёртые, в масляных пятнах, и я долго возился на кухне, отчищая их бензином. Рубашку я взял серую. Она была мне мала, но зато в пути не пачкалась. Каблук у одного ботинка был стоптан, и, чтобы подровнять, я сдернул клещами каблук у другого, потом гвозди забил молотком и почистил ботинки ваксой.

Беда моя — это была кепка. Кепку, как известно, у мальчишек редко найдёшь новую. Кепку закидывают на заборы, на крыши, бьют ею в спорах оземь. Кроме того, она часто заменяет футбольный мяч. В моей же кепке была дыра, которую я прожёл у костра на ученической маёвке. Если бы ещё оставалась подкладка, то её можно было бы замазать чернилами. Но подкладки не было, а мазать чернилами свой затылок мне, конечно, не хотелось.

Тогда я решил, что днём буду кепку держать в руках, будто бы мне всё время жарко, а вечером сойдёт и с дырой.

И только что я закончил свои приготовления, как вернулись дядя и Яков. Они принесли новенький чемодан, какие-то свёртки и чёрный кожаный портфель, который дядя тотчас же бросил на пол и стал легонько топтать ногами.

От меня пахло скипидаром, ваксой, бензином. Я стоял, разинув рот, и мне начинало казаться, что дядя мой немного спятил.

Но вот он поднял портфель, улыбнулся, потянул носом, глянул и сразу же оценил мои старания.

— Хвалю, — сказал он. — Люблю аккуратность, хотя от тебя и несёт, как от керосиновой лавки. Теперь женими все эти балахоны, ибо в них ты мне напоминаешь церковного певчего, и надень вот это.

И он протянул мне свёрток. В нём были короткие, до колен, защитного цвета штаны, такая же щеголеватая курточка с множеством карманов и карманчиков, жёлтые сандалии, пионерский галстук с блестящей пряжкой, косая, как у лётчика, пилотка и небольшой кожаный рюкзак.

Дрожащими руками я схватил всё это добро в охапку и умчался переодеваться. И когда я вышел, то дядя всплеснул руками.

— Чкалов! — воскликнул он. — Молоков! Владимир Коккинаки!.. Орден только не хватает — одного, двух, дюжины! Ты посмотри, старик Яков, какова растёт наша молодежь! Эх, эх, далеко полетят орлята! Так не грусти, старик Яков! Видно, капля и твоей крови пролилась недаром.

Вскоре мы собрались. Ключ от квартиры я отнёс управдому, котёнка отдал дворничихе.

Попрощался с дворником, дядей Николаем, и водопроводчиком Микешкиным, который, хлопая добрыми осоловелыми глазами, сунул мне в руку горсть подсолнухов.

У ворот я остановился. Вот он, наш двор. Вот уже зажгли знакомый фонарь возле шахты Метростроя, тот, что озаряет по ночам наши комнаты. А вон высоко, рядом с трубой, три окошка нашей квартиры, и на пыльных стёклах прежней отцовской комнаты, где подолгу когда-то играли мы с Ниной, отражается луч заходящего солнца. Прощайте! Всё равно там теперь пусто и никого нет.

Второпях я забыл у Валентины в ящике две израсходованные мною кассеты, но это меня огорчало сейчас мало.

Мы вышли на площадь. Здесь дядя пошёл к стоянке такси и о чём-то долго там торговался с шофёром.

Наконец он подозвал нас. Мы сели и поехали.

Я был уверен, что едем мы только до какого-либо вокзала. Но вот давно уже выехали мы на окраину, промчались под мостом Окружной железной дороги. Один за другим замелькали дачные посёлки, потом и они остались позади. А машина всё мчалась и мчалась и везла нас куда-то очень далеко.

Через девяносто километров, в город Серпухов, что лежит по Курской дороге, мы приехали уже ночью.

В потёмках добрались мы до небольшого, окружённого садами домика, на крыше которого шныряли и мяукали кошки.

Я не заметил, чтобы приезду нашему были рады, хотя дядя говорил, что здесь живёт его задушевный товарищ.

Впрочем, ничего удивительного в том не было.

Уехал так же года четыре тому назад с нашего двора мой приятель Васька Быков. А встретились мы с ним недавно... То да сё — вот и всё! Похвалились один перед другим перочинными ножами. У меня — кривой, с шилом, у него — прямой, со штопором. Съели по ириске, да и разошлись восвояси.

Не всякая, видно, и дружба навеки!

В Серпухове мы прожили двое суток, и я удивлялся, что дядя, который так хотел посмотреть родной край, из садика, что возле дома, никуда не выходил.

Несколько раз я бегал за газетами, остальное время валялся на траве и читал старую «Ниву». Мелькали передо мной портреты царей, императоров, русских и не русских генералов. Какие-то проворные палачи кривыми короткими саблями рубили головы пленным китайцам. А те, как будто бы так и нужно было, притихли, стоя на коленях. И не видать, чтобы кто-нибудь из них рванулся, что-нибудь палачам крикнул или хотя бы плюнул.

Я пошёл поговорить об этом с дядей. Дядя читал только что полученную от почтальона телеграмму и был доволен. Он отобрал у меня затрёпанную «Ниву» и сказал мне, что я ещё молод и должен думать о жизни, а не о смерти. Кроме того, от таких картинок ночью может привязаться плохой сон.

Я рассмеялся и спросил, скоро ли мы куда-нибудь дальше поедем.

— Скоро, — ответил дядя. — Через час поедем на вокзал.

Он протянул руку за гитарой, лукаво глянул на меня и, ударив по струнам, спел такую песню:

Скоро спустится ночь благодатная,
Над землёй загорится луна.
И под нею заснёт необъятная
Превосходная наша страна.
Спят все люди с улыбкой умильной,
Одеялом покрывшись своим.
Только мы лишь, дорогою пыльной
До рассвета шагая, не спим.

— Трам-там-там! — Он закрыл ладонью струны и, довольный, рассмеялся. — Что, хороша песня? То-то! А кто сочинил? Пушкин? Шекспир? Анна Каренина? Дудки! Это я сам сочинил. А ты, брат, думал, что у тебя дядя всю жизнь только саблей махал да звенел шпорами. Нет, ты попробуй-ка сочини! Это тебе не то что к мачехе в ящик за деньгами лазить. Что же ты отвернулся? Я тебе

любя говорю. Если бы я тебя не любил, то ты давно бы уже сидел в исправдоме. А ты сидишь вот где: кругом аромат, природа. Вон старик Яков из окна высунулся, в голубую даль смотрит. В руке у него, кажется, цветок. Роза! Ах, мечтатель! Вечно юный старик-мечтатель!

— Он не в голубую даль, — хмуро ответил я. — У него намыленные щёки, в руках помазок, и он, кажется, уронил за окно стакан со вставными зубами.

— Бог мой, какое несчастье! — воскликнул дядя. — Так беги же скорей, бессердечный осёл, к нему на помощь да скажи ему заодно, чтобы он поторапливался.

Через час мы уже были на вокзале. Дядя был весел и заботлив. Он осторожно поддерживал своего друга, когда тот поднимался по каменным ступенькам, и громко советовал:

— Не торопись, старик Яков! Сердце у тебя чудесное, но сердце у тебя больное. Да, да! Что там ни говори — старые раны называются, а жизнь беспощадна. Вон столик. Всё занято. Погоди немного, старина, дай осмотреться — вероятно, кто-нибудь захочет уступить место старому ветерану.

Чернокосяя девушка взяла свёрток и встала. Молодой лейтенант зашуршал газетой и подвинулся. Проворный официант подставил дяде второй стул, а я сел на вещи. Вскоре подошёл носильщик и сказал, что мягких нет ни одного места. Дядю это несколько не огорчило, и он велел брать жёсткие.

Задрожали стёкла, подкатил поезд. Мы вышли на платформу. И здесь, в сутолоке, передо мной вдруг мелькнуло знакомое лицо артиста из Сокольников. Человек этот был теперь в пенсне, в мягкой шляпе, на плечи его был накинут серый плащ; он что-то спросил у дяди, по-видимому, где буфет, и, поблагодарив, скрылся в толпе. Только что мы уселись, как звонок, гудок — и поезд тронулся.

Пока я торчал у окошка, раздумывая о странных совпадениях в человеческой жизни, дядя успел побывать в вагоне-ресторане. Вернувшись, он принёс оттуда большой апельсин и подал его старику Якову, который сидел, уронив на столик голову.

— Съешь, Яков! — предложил дядя. — Но что с тобой? Ты, я вижу, бледен. Тебе нездоровится?

— Пройдёт! — сморщив лицо, простонал Яков. — Конечно, трясёт, толкает, но я потерплю!

— Он потерпит! — возмущённо вскричал дядя. — Он, который всю жизнь терпел такое, что иному не перетерпеть и за три жизни! Нет, нет! Этого не будет. Я позову сейчас начальника поезда, и если он человек с сердцем, то мягкое место он тебе устроит.

— Сели бы к окошку да на голову что-нибудь мокрое положи-

ли. Вот салфетка, вода холодная, — предложила сидевшая напротив старушка. — А вы бы, молодой человек, потише курили, — обратилась она к лежавшему на верхней полке парню. — От вашего табачища и здорового легко вытошнить может.

Круглолицый парень нахмурился, заглянул вниз, но, увидав пожилого человека с орденом, смутился и папироску выбросил.

— Благодарю вас, благородная старушка, — сказал дядя. — Не знаю, сидели ли ваши мужья и братья по тюрьмам и каторгам, но сердце у вас отзывчивое. Эй, товарищ проводник! Попросите ко мне начальника поезда да откройте сначала это окно, которое, как мне кажется, приколочено к стенке семидюймовыми гвоздями.

— Ты мети, голова, потише! — укорил проводника бородатый дядька. — Видишь, у человека душа пыли не принимает.

Вскоре все наши соседи прониклись сочувствием к старику Якову и, выйдя в коридор, негромко разговаривали о том, что вот-де человек в своё время пострадал за народ, а теперь болеет и мучится. Я же, по правде сказать, испугался, как бы старик Яков не умер, потому что я не знал, что же мы тогда будем делать.

Я вышел в коридор и сказал об этом дяде.

— Упаси бог! — пробормотала старушка. — Или уж правда плох очень?

— Что там такое? — спросила проходившая по коридору тётка.

— Да вон в том купе человек, слышь, помирает, — охотно объяснил ей бородатый. — Вот так, живёшь-живёшь, а где помрёшь — неизвестно.

— Высадить бы надо, — осторожно посоветовали из-за соседней двери. — Дать на станцию телеграмму, пусть подождут санитары с носилками. Хорошее ли дело: в вагоне покойник! У нас тут женщины, дети.

— Где покойник? У кого покойник?

Разговор принял неожиданный и неприятный оборот. Дядя ткнул меня кулаком в спину и, громко рассмеявшись, подошёл к лежавшему на лавке старику Якову.

— Ха-ха! Он помрёт! Слышишь ли, старик Яков? — дёргая его за пятку, спросил дядя. — Они говорят, что ты помираешь. Нет, нет! Дуб ещё крепок. Его не сломали ни тюрьма, ни казематы. Не сломит и лёгкий сердечный припадок, результат тряски и плохой вентиляции. Эге! Вон он и поднимается. Вон он и улыбнулся. Ну, смотрите. Разве же это судорожная усмешка умирающего? Нет! Это улыбка бодрой и ещё полнокровной жизни. Ага, вот идёт начальник поезда! Конечно, говорю я, он ещё улыбается. Но при его измученном борьбой организме подобные улыбки в тряском вагоне вряд ли естественны и уместны.

Начальник поезда, узнав, в чём дело, ответил:

— Я вижу, что старику партизану-орденоносцу действительно

неудобно. Но, на ваше счастье, сейчас в Серпухове из пятого купе мягкого вагона не то раньше времени сошёл, не то отстал пассажир. Дайте проводнику денег на доплату, и я скажу, чтобы он купил на стоянке билет вне очереди.

Начальник поезда откланялся и ушёл. Все остались им очень довольны. Все хвалили вежливого и внимательного начальника. Говорили, что вот-де какой ещё молодой, а как себя хорошо держит. А давно ли попадались такие, что он с тобой и разговаривать не хочет, а не то чтобы человеку помочь или хотя бы войти в положение.

Хорошо, когда всё хорошо. Люди становятся добрыми, общительными. Они предлагают друг другу чайник, ножик, соли. Берут прочесть чужие журналы, газеты и расспрашивают, кто куда и откуда едет, что и почём там стоит. А также рассказывают разные случаи из своей и из чужой жизни.

Старик Яков совсем оправился. Он выпил чаю, съел колбасы и две булки.

Тогда соседи попросили его, чтобы и он рассказал им что-нибудь из своей, очевидно, богатой приключениями жизни...

Отказать в такой просьбе людям, которые столь участливо отнеслись к нему, было неудобно, и старик Яков вопросительно посмотрел на дядю.

— Нет, нет, он не расскажет, — громко объяснил дядя. — Он слишком скромен. Да, да! Ты скромен, друг Яков. И ты не сердись, если я тебе напомню, как только из-за этой проклятой скромности ты отказался занять пост замнаркома одной небольшой автономной республики. Сам нарком, товарищ Гули-Поджидаев, как всем известно, недавно умер. И, конечно, ты, а не кто-либо иной, управлял бы сейчас делами этого небольшого, но симпатичного народа!

— Послушайте! Вы ведь шутите? — смущаясь, спросил с верхней полки круглолицый паренёк. — Так же не бывает.

— Бывает всяко, — задорно ответил дядя и продолжал свой рассказ: — Но скромность, увы, не всегда добродетель. Наши дела, наши поступки принадлежат часто истории и должны, так сказать, вдохновлять нашу счастливую, но, увы, беспечную молодёжь. И если не расскажет он, то за него расскажу я.

Тут дядя обвёл взглядом всех присутствующих и спросил, не сидел ли кто-нибудь в прежние или хотя бы в теперешние времена в центральной харьковской тюрьме.

Нет, нет! Оказалось, что ни в прежние, ни в теперешние не сидел никто.

— Ну, тогда вы не знаете, что такое харьковская тюрьма, — начал свой рассказ дядя.

Мрачной серой громадой стояла она на высоком холме так на-

зываемой Прохладной, или, виноват, Холодной горы, вокруг которой раскинулись придавленные пятой самодержавия низенькие домики робких обывателей. Тоскливо было сидеть узнику в угрюмой общей камере номер двадцать семь. Из окна была видна дорога, по которой катили грузовики, шли на работу служащие. И торговки-спекулянтки с весёлым гоготом тащили на рынок корзины с фруктами и лотки жареных пирожков с мясом, с рисом и с капустой. Узник же получал, как вы сами понимаете, всего шестьсот граммов, то есть полтора фунта. Кроме того, он жаждал свободы.

«Даёшь свободу! — громко тогда воскликнул про себя узник. — Довольно мне греметь кандалами и чахнуть в неволе, дожидаясь маловероятной амнистии по поводу какой-либо годовщины, точнее сказать — императорской свадьбы, рождения или коронации!» И в тот же вечер по пути с дровозаготовок узник оттолкнул конвоира и, как пантера, ринулся в лес, преследуемый зловещим свистом пуль.

Но судьба наконец улыбнулась страдальцу. Ночь он провёл под стогом сена. А наутро услышал шум трактора и увидел работающих в поле крестьян. А так как узник ходил ещё в своём и был одет весьма прилично, то он выдал себя за ответственного работника, приехавшего на посевную.

Он спросил, как дела. Дал кое-какие указания. Выпил молока, потребовал лошадей до станции и скрылся, как вы уже догадываетесь, продолжать своё опасное дело на благо народа, страждущего под мрачным игом проклятого царизма...

Слушатели расхохотались и, гремя посудой, кинулись к выходу, потому что поезд затормозил перед станцией, богатой дешёвым молоком и курами.

— Но послушайте, вы всё шутите, — обиженно заметил сверху круглолицый паренёк. — Ведь ничего этого вовсе так не бывает.

— Да, я шучу, молодой человек, — вытирая платком лоб, хладнокровно ответил дядя. — Шутка украшает жизнь. А иначе жизнь легка только тупицам да лежебокам. Ге! Так ли я говорю, юноша? — хлопнул он меня по плечу. — А вон, насколько я вижу, идёт и проводник с билетом.

Дядя остался караулить вещи, а я взял нетяжёлый чемодан и пошёл провожать в мягкий вагон старика Якова, который нёс с собой завернутый в наволочку портфель, полотенце, апельсин и газету.

В купе было всего два места. Внизу, у окна справа, сидел пожилой человек, на столике перед ним лежала книга, за спиной его стояла полевая кожаная сумка, а рядом на диване валялась подушка.

Он искоса взглянул на нас, когда мы скрипнули дверью. Но,

увидев, что в купе входит не какой-нибудь шалопай, а почтенный старик с орденом, он учтиво ответил на поклон и подушку отодвинул. Верхнее место, то самое, на которое опоздал какой-то пассажир, было свободно. Но сразу лезть спать старик Яков не захотел, а надел очки и взялся за газету.

Однако я хорошо видел, что он не читает, а исподлобья, но зорко смотрит в сторону пассажира.

Я помялся и пожелал старику Якову спокойной ночи.

Тогда он легонько охнул и тихим злым голосом попросил меня передать дяде, чтобы тот вместо негодной, чёрной, прислал обыкновенную походную грелку, наполненную водой до половины. Я удивился и хотел переспросить, но вместо ответа старик Яков молча показал мне кулак. Обиженный и слегка напуганный, я вернулся и передал дяде эту просьбу.

Дядя насупил, негромко кого-то выругал, полез к себе в сумку, достал небольшой свёрток и тотчас же вышел, должно быть, к проводнику за водой. Вскоре он вызвал меня на площадку. Взгляд его был строг, а круглые глаза прищурены.

— Возьми, — сказал он, протягивая мне серую холщовую сумочку, затянутую сверху резиновым шнуром. — Возьми эту грелку и отнеси. Понял? — Он сжал мне руку. — Понял? — повторил дядя. — Иди и помни, о чём мы с тобой перед отъездом говорили.

Голос у дяди был тих и строг, говорил он теперь коротко, без всяких смешков и прибауток. Рука моя дрожала. Дядя заметил это, потрепал меня за подбородок и легонько подтолкнул.

— Иди, — сказал он, — делай, как тебе приказано, и тогда всё будет хорошо.

Я пошёл. По пути я прощупал сумочку: внутри неё что-то скрипнуло и зашуршало; грелка была холодная, по-видимому кожаная, и вместо воды набита бумагой.

Я постучался и вошёл в купе. Незнакомый пассажир сидел у столика, низко склонившись над книгой. Старик Яков читал, откинувшись почти к самой стенке.

Он схватил грелку, легонько застонал, положил её себе на живот и закрыл лапами пиджака.

Я вышел и в тамбуре остановился. Окно было распахнуто. Ни луны, ни звёзд не было. Ветер бил мне в горячее лицо. Вагон дрожал, и резко, как выстрелы, стучала снаружи какая-то железка. «Куда это мы мчимся? — глотая воздух, подумал я. — Рита-та-та! Трата-та! Поехали! Эх, поехали! Эх, кажется, далеко поехали!»

— Ну? — спросил, встречая меня, дядя.

— Всё сделано, — тихо ответил я.

— Хорошо. Садись, отдохни. Хочешь есть — вон на столе колбаса, булка, яблоки.

От колбасы я отказался, яблоко взял и съел сразу.

— Вы бы мальчика спать уложили, — посоветовала старушка. — Мальчонка за день намотался. Глаза, я смотрю, красные.

— Ну, что за красные! — ответил ей дядя. — Это просто так: пыль, тени. Вот скоро будет станция, и он перейдёт ночевать к старику Якову. Старик без присмотра — дитя: то ему воды, то грелку. А с начальником поезда я уже договорился.

— С умным человеком отчего не договориться, — вздохнула старушка. — А у меня сын Володька, бывало, говорит, говорит. Эх, говорит, мама, никак мы с тобой не договоримся!.. Так самовольно на Камчатку и уехал. Теперь там, шалопай, капитаном, что ли.

Старушка улыбнулась и стала раскладывать постель, а я подозрительно посмотрел на дядю: что это ещё затевается? В какой вагон? Какие грелки?

Мимо нашего купе то и дело проходили в ресторан люди. Вагон покачивало, все пошатывались и хватались за стены.

Я сел в уголок, пригрелся и задумался. Как странно! Давно ли всё было не так! Били часы. Кричал радиоприёмник. Наступало утро. Шумела школа, гудела улица, и гремел барабан. Четвёртый наш отряд выбегал на площадку строиться. И уж непременно кто-то там кричит и дразнит:

Сергей-барабанщик,
Солдатский обманщик,
Что ты бьёшь в барабан?
Ещё спит капитан.

«Но! Но! — говорю я. — Не подходи ближе, а то пробью по спине зорю палками».

Ту-у! — взревел вдруг паровоз. Вагон рвануло так, что я едва не свалился с лавки; жестяной чайник слетел на пол, заскрежетали тормоза, пассажиры в страхе бросились к окнам.

Вскочил в купе встревоженный дядя. С фонарями в руках проводники кинулись к площадкам.

Паровоз беспрерывно гудел. Стоп! Стали. Сквозь окна не видно было ни огонька, ни звёздочки. И было непонятно, стоим ли мы в лесу или в поле.

Все толпились и спрашивали друг друга: что случилось? Не давило ли кого? Не выбросился ли кто из поезда? Не мчится ли на нас встречный? Но вот паровоз опять загудел, что-то защёлкало, зашипело, и мы тихо тронулись.

— Успокойтесь, граждане! — унылым голосом закричал проводник. — Это какой-нибудь пьяный шёл из ресторана да и рванул тормоз. Эх, люди, люди!

— Напьются и безобразят! — вздохнул дядя. — Сходи, Сергей, к старику Якову. Старик больной, нервный. Да узнай заодно, не переменить ли ему воду в грелке.

Я сурово взглянул на него: не ври, дядя! И молча пошёл.

И вдруг по пути я вспомнил то знакомое лицо артиста, что мелькнуло передо мной на платформе в Серпухове. Отчего-то мне стало не по себе.

Я постучался в дверь пятого купе. Откинувшись спиной почти совсем к стенке, старик Яков лежал, полузакрыв глаза. На полу валялись спички, окурки, и повсюду пахло валерианкой. Очевидно, и мягкий вагон тряхнуло здорово.

Я спросил у старика Якова, как он себя чувствует и не пора ли переменить грелку.

— Пора! Давно пора! — сердито сказал он, раскрыл полы пиджака и передал мне холщовый мешочек.

— Мальчик! — не отрывая глаз от книги, попросил меня пассажир. — Будешь проходить, скажи проводнику, чтобы он пришёл прибраться.

— Да, да! — болезненным голосом подтвердил Яков. — Попроси, милый!

«Милый»? Хорош «милый»! Он так вцепился в мою руку и так угрожающе замотал плешивой головой, что можно было подумать, будто с ним вот-вот случится припадок. Я выскочил в коридор и остановился. Что это всё такое? Что означают эти выпученные глаза и перекошенные губы? А я вот возьму крикну проводника да ещё передам ему и эту сумку!

Проводник как раз вошёл в вагон и остановился, вытирая тряпкой стёкла.

Сказать или не сказать?

— Молодой человек, — спросил вдруг проводник, — что вы здесь всё время ходите? У вас билет в жёстком, а здесь мягкий.

— Да, — пробормотал я, — но мне же нужно... и они меня посылают.

— Я не знаю, что вам нужно, — перебил меня проводник, — а мне нужно, чтобы в мой купе посторонние пассажиры не ходили. Что это вы взад-вперёд носите?

«Поздно! — испугался я. — Теперь уже говорить поздно... Смотри, берегись, осторожней!..»

— Да, — вздрагивающим голосом ответил я, — но в пятом купе у меня больной дядя, и ему нужно менять воду в грелке.

— Так давайте мне сюда эту грелку, — протянул руку проводник, — для больного старика я и сам это сделаю.

— Но ему уже больше не нужно, — пряча холщовую сумку за спину, в страхе ответил я. — У него уже совсем прошло!

— Ну, не нужно так и не нужно! — опять принимаясь вытирать стёкла, проворчал проводник. — А ходить вы сюда больше не ходите. Мне бы не жалко, но за это и нас контролёры греют.

Потный и красный, проскочил я на площадку своего вагона.

Дядя вырвал у меня сумку, сунул в неё руку и, даже не глядя, понял, что всё было так, как ему надо.

— Молодец! — тихо похвалил меня он. — Талант! Капабланка!

И странно! То ли давно уж меня никто не хвалил, но я вдруг обрадовался этой похвале. В одно мгновение решил я, что всё пустяки: и мои недавние размышления и подозрения, и что я на самом деле молодец, отважный, находчивый, ловкий.

Я торопливо рассказал дяде, как было дело, что сказал мне пассажир, как мигнул мне старик Яков и как увернулся я от подозрительного проводника.

— Герой! — с восхищением сказал дядя. — Геркулес! Гений! — Он посмотрел на часы. — Идём, через пять минут станция.

— И тогда что?

— И тогда всё! Иди забирай вещи.

Поезд уже гудел; застучали стрелочные крестовины. Проводник с фонарём пошёл налево, к выходу. Мы взяли сумки. Изо всего купе не спала одна старушка. Дядя пожелал ей счастливого пути. Мы вышли в коридор и прошли к площадке. Здесь дядя вынул из кармана ключ, открыл дверь, мы соскочили на противоположную от вокзала сторону и, смешавшись с людьми, пошли вдоль состава.

У кого-то дядя спросил, где уборная. Нам показали на самом конце перрона маленькую грязноватую каменушку. Мы подошли к ней и остановились.

Через минуту туда же, без шляпы и без чемодана, подбежал совершенно здоровёхонький старик Яков.

Здесь друзья обнялись, как будто не видались полгода. Поезд свистнул и умчался. А мы заторопились прочь с вокзала, потому что с первой же остановки могла прийти розыскная телеграмма. А мой дядя и его знаменитый друг, как я тогда подумал, были, вероятно, отъявленные мошенники.

Много ли добра было в жёлтой сумке, которую старик Яков подменил у пассажира во время переполоха с внезапной остановкой поезда (тормоз рванул, конечно, дядя), — этого мне они не сказали. Но помню я, что на следующее утро лица их были совсем не веселы. Помню я, как на зелёном пустыре за какой-то станцией был между дядей и стариком Яковом крупный спор. О чём? Не знаю.

Потом хмуро и молча сидели они, что-то обдумывая, в маленькой чайной. Потом понял я, что старые друзья эти снова помирились. Долго и оживлённо разговаривали и всё поглядывали в мою сторону, из чего я понял, что разговор у них идёт обо мне.

Наконец они подозвали меня. Стал меня дядя вдруг хвалить и сказал мне, что я должен быть спокоен и твёрд, потому что счастье моё лежит уже не за горами.

Слушать всё это было очень радостно, если бы не смутное подозрение, что дела наши странные ещё не окончены.

Но вдруг, где-то на станции Липецк, к огромной моей радости, распрощался и отстал от нас старик Яков.

И тут я вздохнул свободно, уснул крепко, а проснулся в купе вагона уже тогда, когда ярким тёплым утром мы подъезжали к какому-то невиданно прекрасному городу.

С грохотом мчались мы по высокому железному мосту. Широкая лазурная река, по которой плыли большие белые и голубые пароходы, протекала под нами. Пахло смолой, рыбой и водорослями. Кричали белогрудые серые чайки — птицы, которых я видел первый раз в жизни.

Высокий цветущий берег крутым обрывом спускался к реке. И он шумел листвою, до того зелёной и сочной, что, казалось, прыгни на неё сверху — без всякого парашюта, а просто так, широко раскинув руки, — и ты не пропадёшь, не разобьёшься, а нырнёшь в этот шумливый густой поток и, раскидывая, как брызги, изумрудную пену листьев, вынырнешь опять наверх, под лучи ласкового солнца.

А на горе, над обрывом, громоздились белые здания, казалось — дворцы, башни, светлые, величавые. И, пока мы подъезжали, они неторопливо разворачивались, становились вполоборота, проглядывая одно за другим через могучие каменные плечи, и сверкали голубым стеклом, серебром и золотом.

Дядя дёрнул меня за плечо:

— Друг мой! Что с тобой: столбняк, отупение? Я кричу, я дёргаю... Давай собирай вещи

— Это что? — как в полусне, спросил я, указывая рукой на окошко.

— А, это? Это всё называется город Киев.

Светел и прекрасен был этот весёлый и зелёный город. Росли на широких улицах высокие тополя и тенистые каштаны. Раскинулись на площадях яркие цветники. Били сверкающие под солнцем фонтаны. Да как ещё били! Рвались до вторых, до третьих этажей, переливали радугой, пенились, шумели и мелкой водяной пылью падали на весёлые лица, на открытые и загорелые плечи прохожих.

И то ли это слепило людей южное солнце, то ли не так, как на севере, все были одеты — ярче, проще, легче, — только мне показалось, что весь этот город шумит и улыбается.

— Киевляне! — вытирая платком лоб, усмехнулся дядя. — Это такой народ! Его колоти, а он всё танцевать будет! Сойдём, Сергей, с трамвая, отсюда и пешком недалеко.

Мы свернули от центра. То дома высились у нас над головой, то лежали под ногами. Наконец мы вошли в ворота, прошли через двор в проулок — и опять ворота. Сад густой, запущенный. Акация, слива, вишня, у забора лопух.

В глубине сада стоял небольшой двухэтажный дом. За домом — зелёный откос, и на нём полинялая часовенка.

Верхний этаж дома был пуст, окна распахнуты, и на подоконниках скакали воробьи.

— Стой здесь, — сбрасывая сумку, приказал дядя, — а я сейчас всё узнаю.

Я остался один. Кувыркаясь и подпрыгивая, выскочили мне под ноги два здоровых дымчатых котёнка и, фыркнув, метнулись в дыру забора.

Слева, в саду, возвышался поросший крапивой бугор, на котором торчали остатки развалившейся каменной беседки. Позади, за беседкой, доска в заборе была выломана, и отсюда по откосу, мимо часовенки, поднималась тропинка. Справа на площадке лежали сваленные в кучу маленькие скамейки, столы, стулья. И теперь я угадал, что в доме этом зимой бывает детский сад. А сейчас, на лето, они уехали, конечно, куда-либо за город. Оттого наверху и пусто.

— Иди! — крикнул мне показавшийся из-за кустов дядя. — Всё хорошо! Отдохнём мы здесь с тобой лучше, чем на даче. Книг наберём. Молоко пить будем. Аромат кругом... Красота! Не сад, а джунгли.

Возле заглохшего цветника нас встретили.

Высокая седая старуха с вздрагивающей головой и с глубоко впавшими глазами, опираясь на чёрную лакированную палочку, стояла возле морщинистого бородатого человека, который держал в руках длинную метлу.

Сначала я подумал, что это старухин муж, но, оказывается, это был её сын.

— Дорогих гостей прошу пожаловать! — сказала старуха надтреснутым, но звучным голосом. Она сухо поздоровалась со мной и, откинув голову, приветливо улыбнулась дяде. — Спаситель! Ах, спаситель! — сказала она, постучав костлявым пальцем по плечу дяди. — Польсел, потолстел, но всё, как я вижу, по-прежнему добр и весел. Всё такой же молодец, герой, благородный, великодушный, а время летит... время!..

В продолжение этой совсем непонятной мне речи бородатый сын старухи не сказал ни слова.

Но он наклонял голову, выкидывал вперёд руку и неуклюже шаркал ногой, как бы давая понять, что и он всецело разделяет суждения матери о дядиных благородных качествах.

Нас проводили наверх. Живо раскинули мы две железные кровати в той из трёх пустых комнат, что была поменьше, положили соломенные матрацы, втащили столик. Старуха принесла простыни, подушки, скатерть. Под открытым окном шумели листья орешника, чирикали птицы.

И стало у меня вдруг на душе хорошо и спокойно.

И ещё хорошо мне было оттого, что старуха назвала дядю и добрым и благородным. Значит, думал я, не всегда же дядя был пройдохой. А может быть, я и сейчас чего-то не понимаю. А может быть, всё, что случилось в вагоне, это задумано злобным и хитрым стариком Яковом. А теперь, когда Якова нет, то, может быть, всё оно и пойдёт у нас по-хорошему.

Дядя дёрнул меня за нос и спросил, о чём я задумался. Он был добр. И, набравшись смелости, я сказал ему, что лучше, чем воровать чужие сумки, жить бы нам спокойно вот в такой хорошей комнате, где под окном орешник, черёмуха. Дядя работал бы, я бы учился. А злобного старика Якова пусть заперли бы санитары в инвалидный дом. И пусть он сидел бы там, отдыхал, писал воспоминания о прежней своей боевой жизни, а в теперешние наши дела не вмешивался.

Дядя упал на кровать и расхохотался:

— Ха-ха! Хо-хо! Старика Якова запереть в инвалидный дом! Юморист! Гоголь! Смирнов-Сокольский! В цирк его, в борцы! Гладиатором на арену! Музыка, туш! Рычат львы! Быки воют! А ты его в инвалидный!

Тут дядя перестал смеяться. Он подошёл к окну, сломал веточку черёмухи и, постукивая ею по своим коротким ногам, начал мне что-то объяснять.

Он объяснил мне, что вор не всегда есть вор, что я ещё молод, многого в жизни не понимаю и судить старших не должен. Он спрашивал меня, читал ли я Чарлза Дарвина, Шекспира, Лермонтова. И когда у меня от всех его вопросов голова пошла кругом, и уж не помню, с чем-то я соглашался, чему-то поддакивал, то он оборвал разговор и спустился в сад.

Я же, хотя толком ничего и не понял, остался при том убеждении, что если даже дядя мой и жулик, то жулик он совсем необыкновенный. Обыкновенные жулики воруют без раздумья о Чарлзе Дарвине, о Шекспире и о музыке Бетховена. Они тянут всё, что попадёт под руку, и чем больше, тем лучше. Потом, как я видел в кино, они делят деньги, устраивают пирушку, пьют водку и танцуют с девчонками танец «Ёлки-палки, лес густой», как в «Путёвке в жизнь», или «Танго смерти», как в картине «Шумит ночной Марсель».

Дядя же мой не пьянствовал, не танцевал. Пил молоко и любил простоквашу.

Дядя ушёл в город. В раздумье бродил я по комнатам. На стене в коридоре висел пыльный телефон. Очевидно, с тех пор как уехал детский сад, звонили по нему не часто. Заглянул я в чулан — там стояло изъеденное молью, облезлое чучело рыжего медвежонка.

Слазил по крутой лесенке на чердак, но там была такая духота и пылица, что я поспешно спустился вниз.

Вечерело. Я вышел в сад. В глухом уголку, за разваленной беседкой, лежал в крапиве мраморный столб. Я разглядел на его мутной поверхности такую надпись:

ЗДЕСЬ ПОГРЕБЁН
Действительный статский
советник и кавалер
ИОАНН ГЕНРИХОВИЧ ШТОКК.

Тут же в крапиве валялись разбитый ящик и разошедшаяся бочка.

Было тепло, тихо, крепко пахло резедой и настурциями. Где-то далеко на Днепре загудел пароход.

Когда гудит пароход, я теряюсь. Как за поручни, хочется схватиться мне за что попало: за ствол дерева, за спинку скамейки, за подоконник. Гулкое, многоголосое эхо его всегда торжественно и печально.

И где бы, в каком бы далёком и прекрасном краю человек ни был, всегда ему хочется плыть куда-то ещё дальше, встречать новые берега, города и людей. Конечно, если только человек этот не такой тип, как злобный Яков, вся жизнь которого, вероятно, только в том и заключается, чтобы охать, ахать, представляться больным и тянуть у доверчивых пассажиров их вещи.

Но вот я насторожился. В саду, за вишнями, кто-то пел. Да и не один, а двое. Мужской голос — ровный, приглушённый, и женский — резковатый, как бы надтреснутый, но очень приятный.

Тихонько продвинулся я вдоль аллеи. Это были старуха и её бородатый сын. Они сидели на скамейке рядом, прямые, неподвижные, и, глядя на закат, тихо пели: «Цветы бездумные, цветы осенние, о чём вы шепчетесь в пустом саду?..»

Я был удивлён. Я ещё никогда не слышал, чтобы такие древние старухи пели. Правда, жила у нас во дворе дворникова бабка, так и она, когда качала их горластого Гошку, тоже пела: «Ай, люли, ай, люли! Волки тёлку увели», — но разве же это песня?

— Дитя! — позвала вдруг кого-то старуха.

Я обернулся, но никого не увидел.

— Дитя, подойди сюда! — опять позвала старуха.

Я снова оглянулся — нет никого.

— Тут никого нет, — смущённо сказал я, высовываясь из-за куста. — Оно, должно быть, куда-нибудь убежало.

— Кто оно! Глупый мальчик! Это я тебя зову.

Я подошёл.

— Пойди и посмотри, не коптит ли на кухне керосинка.

— Хорошо, — согласился я, — только я не знаю, где у вас кухня.

— Как ты не знаешь, где у нас кухня? — строго спросила старуха. — Да я тебя, мерзавца, из дому выгоню... на мороз, в степь... в поле!

Я ахнул и в страхе попятился, потому что старуха уже потянулась к своей лакированной палке, по-видимому собираясь меня ударить.

— Мама, успокойтесь, — раздражённо сказал её сын. — Это же не Степан, не Акимка. Это младший сын покойного генерала Рутенберга, и он пришёл поздравить вас со днём ангела.

Трудно сказать, когда я больше испугался: тогда ли, когда меня хотели ударить, или когда я вдруг оказался сыном покойного генерала.

Вскрикнув, шарахнулся я прочь и помчался к дому. Вбежав по шаткой лесенке, я захлопнул на крючок дверь и дрожащими руками стал зажигать лампу. И только что я снял стекло, как услышал шаги. По лестнице за мной кто-то шёл...

Крючок был изогнутый, слабенький, и его легко можно было открыть снаружи, просунув карандаш или даже палец. Я метнулся на терраску и перекинул ногу через перила.

В дверь постучались.

— Эй, там, Сергей! — услышал я знакомый голос. — Ты спишь, что ли?

Это был дядя.

Торопливо рассказал я дяде про свои страхи.

Дядя удивился.

— Кроткая старуха, — сказал он, — осенняя астра! Цветок бездумный. Она, конечно, немного не в себе. Преклонные годы, тяжёлая биография... Но ты её испугался напрасно.

— Да, дядя, но она хотела меня треснуть палкой.

— Фантазия! — усмехнулся дядя. — Игра молодого воображения. Впрочем... всё потёмки! Возможно, что и треснула бы. Вот колбаса, сыр, булки. Ты есть хочешь?

За ужином дядя объяснил мне, что когда-то весь этот дом принадлежал старухе, а теперь её сын работает здесь, при детском доме, сторожем, а иногда играет на трубе в каком-то оркестре.

Мы легли спать рано. Окно было распахнуто, и сквозь листву орешника, как крупные звёзды, проглядывали огни города. Мы лежали долго молча. Но вот дядя загремел в темноте спичками и закурил.

— Дядя, — спросил я, — отчего эта старуха называла вас днём и добрым и благородным? Это она тоже с дури? Или что-нибудь тут на самом деле?

— Когда-то, в восемнадцатом, буйные солдаты хотели спус-

тить её вниз головой с моста, — ответил дядя. — А я был молод, великодушен и вступился.

— Да, дядя. Но если она была кроткая или, как вы говорите, цветок бездумный, то за что же?

— Там, на войне, не разбирают. Кроме того, она тогда была не кроткая и не бездумная. Спи, друг мой.

— Дядя, — задумчиво спросил я, — а отчего же, когда вы вступились, то солдаты послушались, а не спустили и вас вниз головой с моста?

— Я бы им, подлецам, спустил! За мной было шесть всадников, да в руках у меня граната! Лежи спокойно, ты мне уже надоел.

— Дядя, — помолчав немного, не вытерпел я, — а какие это были солдаты? Белые?

— Лежи, болтун! — оборвал меня дядя. — Военные были солдаты: две руки, две ноги, одна голова и винтовка-трёхлинейка с пятью патронами. А если ты ещё будешь ко мне приставать, то я тебя выставлю в соседнюю комнату.

...Мои пытливые расспросы, очевидно, встревожили дядю. Через день, когда мы гуляли над Днепром, он спросил меня, хочу ли я вообще возвращаться домой.

Я задумался. Нет, этого я не хотел. После всего, что случилось, Валентинин муж, вероятно, уговорит её, чтобы меня отдали в какую-нибудь исправительную колонию. Но и оставаться с дядей, который всё время от меня что-то скрывал и прятал, мне было не по себе.

И дядя, очевидно, меня понял. Он сказал мне, что так как я ему с первого же раза понравился, то, если я не хочу возвращаться домой, он отвезёт меня в Одессу и отдаст в мичманскую школу.

Я никогда не слышал о такой школе. Тогда он объяснил мне, что есть такая школа, куда принимают мальчиков лет четырнадцати-пятнадцати. Там же, при школе, они живут, учатся, потом плавают на кораблях сначала простыми матросами, а потом, кто умён, может дослужиться и до моряка-капитана.

Я вспомнил вчерашний пароходный гудок, и сердце моё болезненно и радостно сжалось. «За что? — думал я. — И для чего же вот этот непонятный и даже какой-то подозрительный человек заботится обо мне и хочет сделать для меня такое хорошее дело?»

— А вы? — тихо спросил я. — Вы тоже будете жить в Одессе?

— Нет, — ответил дядя. — Разве я тебе не говорил, что я живу в городе Вятке, заведую отделом народного образования и занимаюсь научной работой?

«Не беда! — подумал я. — Ну, и пускай в Вятке. Так, может быть, даже лучше. А то вдруг приехал бы в Одессу ненавистный старик Яков, — вот тебе, глядишь, и пропала опять вся научная работа!»

Щёки мои горели, и я был взволнован. «Проживу один, — думал я. — Начну всё заново. Буду учиться. Буду стараться. Буду лазить по мачтам. Смотреть в бинокль. Вырасту скоро. Надену чёрную форменку... Вот я стою на капитанском мостике. Дзюнь, дзюнь! Тихий ход вперёд! Вот она, стоит на берегу и машет мне платком... Нина! Прощай, Нина, прощай! Уплываем в Индию. Смело поведу я корабль через бури, через туманы, мимо жарких тропиков... Всё увижу, всё — приеду, тебе расскажу и с чужих берегов привезу подарок».

И так замечтался я, что не заметил, как встал со скамьи, куда-то сходил и опять вернулся мой дядя.

— Но пока тебе будет скучно, — сказал дядя. — Несколько дней я буду занят. И, чтобы ты мне не мешал, давай познакомимся с кем-нибудь из ребят. Будешь тогда всюду бегать, играть. Посмотри, экое кругом веселье!

Ребят на площадке было много. Они лазили по лестницам и шестам, кувыркались и прыгали на пружинных сетках, толпились около стрелкового тира, бегали, баловались и, конечно, задирали девчонок, которые здесь, впрочем, спуска и сами не давали.

— С кем же мне, дядя, познакомиться? — растерянно оглядываясь, спросил я. — Народу кругом такая уйма.

— А мы поищем — и найдём! — ответил дядя и потащил меня за собой.

Он вывел меня к краю площадки. Здесь было тихо, под липами стояли рабочие столики и торчала будочка с материалом и инструментами.

Тут дядя показал мне на хрупкого белокурого мальчика, который, поглядывая на какой-то чертёж, выстругивал ножом тонкие белые планочки.

— Ну вот, хотя бы с этим, — подтолкнул меня дядя. — Мальчик, сразу видно, неглупый, симпатичный.

— Дохловатый какой-то, — поморщился я. — Лучше бы, дядя, с кем-нибудь из тех, что у сетки скачут.

— Экое дело, скачут! Козёл тоже скачет, да что толку? А то мальчик машину какую-то строит. Из такого скакуна клоун выйдет. А из этого, глядишь, Эдисон какой-нибудь... изобретатель. Да ты про Эдисона слыхал ли?

— Слыхал, — буркнул я. — Это который телефон выдумал.

— Ну, вот и пойдя, пойдя, познакомься, а я тут в тени газету читаю.

Белокурый мальчик с большими серыми глазами оставил на столике свои чертежи, планки и пошёл к будке. Пока он что-то там спрашивал, я сел к столику. Он вернулся, держа в руках карандаш и циркуль. Он не рассердился, увидев, что я рассматриваю и трогаю его работу, и только тихо сказал:

— Ты, пожалуйста, не сломай планку, она очень тонкая.

— Нет, — усмехнулся я, — не сломаю. Это ты что мастеришь? Трактор?

— О, что ты! — удивлённо ответил мальчик. — Разве ты не видишь, что это модель ветряного двигателя? Это работа тонкая.

— «Тонкая»! «Тонкая»! — позабывая дядины наставления, передразнил я. — Ты бы лучше шёл на сетку вверх ногами прыгать, а то всё равно потом выкрасить да выбросить.

Мальчик поднял на меня задумчивые серые глаза. Грубость моя его, очевидно, удивила, и он подыскивал слова, как мне ответить.

— Послушай, — тихо сказал он. — Я тебя к себе не звал. Не правда ли? Если тебе нравится прыгать на сетке, походи и прыгай. — Он замолчал, сел, взял циркуль и, взглянув на моё покрасневшее лицо, добавил: — Я тоже люблю лазить и прыгать, но с тех пор, как я в прошлом году выбросился с парашютом из горящего самолёта, прыгать мне уже нельзя.

Он вздохнул и улыбнулся.

Краска всё гуще и гуще заливала мне щёки, как будто я лицом попал в крапиву.

— Извини, — сказал я. — Это я дурак... Может быть, тебе помочь? Мне всё равно делать нечего.

Теперь смутился сероглазый мальчик.

— Почему же дурак? — запинаясь, возразил он. — Зачем это? Ну, если хочешь, возьми этот квадрат, попроси в будке дрель и просверли, где отмечены дырочки. Пстой, они тебе так не дадут! У тебя ученический билет не с собой? Ну, тогда возьми мой. — И он протянул мне затрёпанную красную книжечку.

Я заглянул в билет. Его звали Славой, фамилия — Грачковский. Он был мне ровесник. Мы дружно мастерили двигатель, когда к нам подошёл дядя и протянул две плитки мороженого.

— Мы познакомились, — объяснил я. — Его зовут Славой. И он прыгнул из горящего самолёта на парашюте.

— Чаще меня зовут Славка, — поправил мальчик. — Ас парашютом это я не сам прыгнул — меня отец выкинул. Я же только дёрнул за кольцо, попал на крышу водопроводной башни и, уже свалившись оттуда, сломал себе ногу.

— Но она ходит?

— Ходить-то ходит, да нельзя пока быстро бегать. — Он посмотрел на дядю, улыбнулся и спросил: — Это вы вчера стреляли в тире и поправили меня, чтобы я не сваливал набок мушку? Ой, вы хорошо стреляете!

— Старый стрелок-пехотинец, — скромно ответил дядя. — Стрелял в германскую, стрелял и в гражданскую.

«Эге, стрелок-пехотинец! — покосился я на дядю. — Так ты

уже давно Славку приметил! А я-то думал, что мы его в товарищи выбрали случайно!»

Вскоре мы со Славкой расстались и уговорились назавтра встретиться здесь же.

— Вот человек! — похвалил дядя Славку. — Это тебе не то что какой-нибудь молодец, который только и умеет к мачехе... в ящик... Ну, да ладно, ладно! Ты с самолёта попробуй прыгни, тогда и хорохорься. А то не скажи ему ни слова. Динамит! Порох!.. Ты давай-ка с ним покрепче познакомься... Домой к нему зайди... Посмотришь, как он живёт, чем в жизни занят, кто таковы его родители... Эх, — вздохнул дядя, — кабы нам да такую молодость! А то что?.. Пролетела, просвистела! Тяжкий труд, чёрствый хлеб, свист ремня, вздохи, мечты и слёзы... Нет, нет! Ты с ним обязательно познакомься; он скромненький, благородненький, и я с удовольствием пожал его молодую руку.

Дядя проводил меня только до церковной ограды.

— Вот, — сказал он, — спустишься по тропе на откос, а там через дыру забора — и ты в саду, дома. Днём да без вещей здесь куда ближе. А я приду попозже.

Насвистывая, осторожно спускался я по крутому склону. Добравшись уже до разваленной беседки, я услышал шум и увидел, как во дворике промелькнуло лицо старухи. Волосы её были расчёпаны, и она что-то кричала.

Тотчас же вслед за ней из кухни с топором в руке выбежал её престарелый сын; лицо у него было мокрое и красное.

— Послушай! — запыхавшись и протягивая мне топор, крикнул он. — Не можешь ли ты отрубить ей голову?

— Нет, нет, не могу! — завопил я, отскакивая. — Я... я кричать буду!

— Но она же, дурак, курица! — гневно гаркнул на меня бородач. — Мы насилу её поймали, и у меня дрожат руки.

— Нет, нет! — ещё не оправившись от испуга, бормотал я. — И курице не могу... никому не могу... Вы погодите... Вот придёт дядя, он всё может.

Я пробрался к себе и лёг на кровать. Было теперь неловко, и я чувствовал себя глупым. Чтобы отвлечься, я развернул и стал читать газету.

Прочёл передовицу. В Испании воевали, в Китае воевали. Тонули корабли, гибли под бомбами города. А кто топил и кто бросал бомбы, от этого все отказывались.

Потом стал читать происшествия. Здесь всё было куда как понятней.

Вот автобус налетел на трамвай — стёкла выбиты, жертв нет. «Не зевай, шофёр, счастливо ещё отделался!»

Вот шестилетний мальчишка свалился с моста в воду, и сразу же

за ним бросились трое: его мать, милиционер и старик, торговавший с лотка папиросами. Подлетела лодка и подобрала всех четверых. «Молодцы люди! А мальчишке дома надо бы задать дёру».

А вот объявление: какой-то дяденька продаёт велосипед, он же купит заграничную шляпу. «Глупо! Я бы никогда не продал. Чёрта ли толку в шляпе да без велосипеда?» А вот, стоп!.. Я сжал и подвинул к глазам газету. А вот... ищут меня... «Разыскивается мальчик четырнадцати лет, Сергей Щербачов. Брюнет. На виске возле левого глаза родинка. Сообщить: Москва, телефон ГО-48-64».

«Так, так! Значит, вернулась Валентина. Телефон не наш, не домашний, значит, ищет милиция».

Трясущейся рукой я подвинул дорожное дядино зеркальце.

Долго и тупо глядел. Да, да, вон он и я. Вот брюнет. Вот родинка».

«Разыскивается...» Слово это звучало тихо и приглушённо. Но смысл его был грозен и опасен.

Вот они скользят по проводам, телеграммы: «Ищите! Ищите!.. Задержите!» Вот они стоят перед начальником, спокойные, сдержанные агенты милиции. «Да, — говорят они, — товарищ начальник! Мы найдём гражданина Сергея Щербачова, четырнадцати лет, брюнета с родинкой, — того, что взламывает ящики и продаёт старьёвщикам чужие вещи. Он, вероятно, живёт в каком-нибудь городе со своим подозрительным дядей, например в Киеве, и мечтает безнаказанно поступить в мичманскую школу, чтобы плавать на советских кораблях в разные страны. Этот лживый барабанщик, которого давно уже вычеркнули из списков четвёртого отряда, вероятно, будет плакать и оправдываться, что всё вышло как-то нечаянно. Но вы ему не верьте, потому что не только он сам такой, но его отец осуждён тоже».

Я швырнул зеркало и газету. Да, всё именно так, и оправдываться было нечем.

Ни возвращаться домой, ни попадать в исправительный дом я не хотел. Я упрямо хотел теперь в мичманскую школу. И я решил бороться за своё счастье.

Насухо вытер я глаза и вышел на улицу. Поставшие милиционеры, дворники с бляхами, прохожие с газетой — все мне теперь казались подозрительными и опасными.

Я зашёл в аптеку и, не зная точно, что мне нужно, долго толкался у прилавка до тех пор, пока покупатели не стали опасно поглядывать на меня, придерживая рукой карманы, и продавец грубо не спросил, что мне надо.

Я попросил тюбик хлородонта и поспешно вышел. Потом я очутился возле парикмахерской. Зашёл.

— Подкоротить? Под машинку? Под бокс? Под бобрик? — равнодушно спросил парикмахер.

— Нет, — сказал я. — Бритвой снимайте наголо.

Пряди тёмных волос тихо падали на белую простыню. Вот он показался на голове, узкий шрам. Это когда-то я разбился на динамовском катке. Играла музыка. Катались с Ниной. Было шумно, морозно, весело...

Уши теперь торчали, и голова стала круглой. На лице резче выступил загар.

Вышел, выдавил из тюбика немного зубной пасты, смазал на виске родинку. Брови на солнце выцвели: попробуй-ка разбери теперь, брюнет или рыжий.

Сверкали на улице фонари. Пахло тёплым асфальтом, табаком, цветами и водой.

«Никто теперь меня не узнает и не поймает, — думал я. — Отдаст меня дядя в мичманскую школу, а сам уедет в Вятку... Ну и пусть! Буду жить один, буду стараться. А на всё прошлое плюну и забуду, как будто бы его и не было».

Влажный ветерок охлаждал мою бритую голову. Шли мне навстречу люди. Но никто из них не знал, что в этот вечер твёрдо решил я жизнь начинать заново и быть теперь человеком прямым, смелым и честным.

Было уже поздно, и, спохватившись, я решил пройти домой ближним путём.

Темно и глухо было на пустыре за церковной оградой. Оступаясь и поскользываясь, добрался я до забора, пролез в дыру и очутился в саду. Окна нашей комнаты были темны — значит, дядя ещё не возвращался.

Это обрадовало меня, потому что долгое отсутствие моё останется незамеченным. Тихо, чтобы не разбудить внизу хозяев, подошёл я к крылечку и потянул дверь. Вот тебе и раз! Дверь была заперта. Очевидно, они ожидали, что дядя по возвращении постучится.

Но то дядя, а то я! Мне же, особенно после того, как я сегодня обидел хозяина, стучаться было совсем неудобно.

Я разыскал скамейку и сел в надежде, что дядя вернётся скоро.

Так я просидел с полчаса или больше. На траву, на листья пала роса. Мне становилось холодно, и я уже сердился на себя за то, что не отрубил курице голову. Экое дело — курица! А вдруг вот дядя где-нибудь заночует, — что тогда делать?

Тут я вспомнил, что сбоку лестницы, рядом с уборной, есть окошко и оно, кажется, не запирается.

Я снял сандалии, сунул их за пазуху и, придерживаясь за трухлявый наличник, встал босыми ногами на уступ. Окно было приоткрыто. Я вымазался в пыли, оцарапал ногу, но благополучно спустился в сени.

Я лез не воровать, не грабить, а просто потихоньку, чтобы ни-

кого не потревожить, пробирався домой. И вдруг сердце моё заколотилось так сильно, что я схватился рукой за грудную клетку. Что такое?.. Спокойней!

Однако дыхание у меня перехватило, и я в страхе уцепился за перила лестницы.

Кто его знает почему, но мне вдруг показалось, что старик Яков совсем не исчез — там, далеко, в Липецке, — а где-то притаился здесь, совсем рядом.

Несколько мгновений эта нелепая, упрямая мысль крепко держала мою голову, и я мучительно силился понять, в чём дело.

Тихонько поднялся я наверх — и опять стоп!

Не из той комнаты, где мы жили, а из пустой, которая выходила окном к курятнику, пробивался через дверные щели слабый свет. Значит, дядя уже давно был дома.

Прислушался. Разговаривали двое: дядя и кто-то незнакомый. Никакого старика Якова, конечно, не было.

— Вот, — говорит дядя, — сейчас будет и готово. Этот пакет туда, а этот сюда. Понятно?

— Понятно!

Куда «туда» и куда «сюда» — мне это было совсем непонятно.

— Теперь всё убрать. И куда это мой мальчишка запропал? (Это обо мне.)

— Вернётся! Или немного заблудился. А то ещё в кино пошёл. Нынче дети какие! А мать у него кто?

— Мачеха! — ответил дядя. — Кто её знает, какая-то московская. Мы на эту квартиру случайно, через своего человека попали. Мачеха на Кавказе. Мальчишка один. Квартира пустая. Лучшее всякой гостиницы. Он мне сейчас в одном деле помогать будет.

«Как кто её знает? — ахнул я. — Ведь ты же мой дядя!»

— Ну, и последнее готово! Всё наука и техника. Осторожней, не разбейте склянку. Но куда же всё-таки запропал мальчишка?

Я тихонько попятился, спустился по лестнице, вылез обратно в сад через окошко, обул сандалии и громко постучался в запёртую дверь. Отворили мне не сразу.

— Это ты, бродяга? Наконец-то! — раздался сверху дядин голос.

— Да, я.

— Тогда погоди, штаны да туфли надену, а то я прямо с постели.

Прошло ещё минуты три, пока дядя спустился по лестнице.

— Ты что же полуночишаешь? Где шатался?

— Я вышел погулять... Потом сел не на тот трамвай. Потом у меня не было гривенника, я шёл да и немного заблудился.

— Ой, ты без гривенника на трамваях никогда не ездил? — проворчал дядя.

Но я уже понял, что ругать он меня не будет и, пожалуй, даже доволен, что сегодня вечером дома меня не было.

В коридоре и во всех комнатах было темно. Не зажигая огня, я разделся и скользнул под одеяло. Дверь внизу тихонько скрипнула. Кто-то через нижнюю дверь вышел.

И только сейчас, лёжа в постели, я наконец понял, почему мне недавно померещилось близкое присутствие старика Якова. Как и в тот раз, когда он впервые очутился в нашей квартире, мне почудился такой же сладковато-приторный запах — не то эфира, не то ещё какой-то дряни. «Очевидно, — подумал я, — дядя опять какое-то лекарство пролил... Но что же он за человек? Он меня поит, кормит, одевает и обещает отдать в мичманскую школу, и, оказывается, он даже не знает Валентины и вовсе мне не дядя!»

Тогда я стал припоминать все прочитанные мною книги из жизни знаменитых и неудачливых изобретателей и учёных.

«А может быть, — думал я, — дядя мой совсем и не жулик. Может быть, он и правда какой-нибудь учёный или химик. Никто не признаёт его изобретения, или что-нибудь в этом роде. Он втайне ищет какой-либо утерянный или украденный рецепт. Он одинок, и никто не согреет его сердце. Он увидел хорошего мальчика (это меня), который тоже одинок, и взял меня с собою, чтобы поставить на хорошую жизнь. Конечно, хорошая жизнь так, как у нас началась в вагоне, не начинается... Но... я ничего не знаю. Мне бы только вырваться на волю, в мичманскую школу. Да поскорее, потому что я ведь решил уже жить правдиво и честно... Верно, что я уже и сегодня успел соврать и про трамвай, и про то, что заблудился. Но ведь он же мне и сам соврал первый. «Ты, — говорит, — погоди... Я только что с постели». Нет, брат! Тут ты меня не обманешь. Тут я и сам химик!»

Несколько дней мы прожили совсем спокойно. Каждое утро бежал я теперь в парк, и там мы встречались со Славкой.

Однажды в парк зашёл Славкин отец, тоже худой белокурый человек с тремя шпалами в петлицах.

Пришурившись, глянул он на Славкину модель ветродвигателя, сильными пальцами грубовато и быстро выломал распорку, которую только что с таким трудом мы вставили на место, и уверенно заявил, что здесь должна быть не распорка, а стягивающая скрепка, иначе при работе разболтается гнездо мотора. С обидой и азартом кинулись мы к чертежу, но, оказывается, Славкин отец был совершенно прав.

Он улыбнулся, показал нам кончик языка. Поцеловал Славку в лоб, что меня удивило, потому что Славка был совсем не маленький, и, тихонько насвистывая, быстро пошёл через площадку, старательно обходя копавшихся в песке маленьких ребятшек.

— Догадливый! — сказал я. — Только подошёл, глянул — кряк! — и выломал.

— Ещё бы не догадливый! — спокойно ответил Славка. — Такая уж у него работа.

— Он военный инженер? Он что строит?

— Разное, — уклончиво ответил Славка и с гордостью добавил: — Он очень хороший инженер! Это он только такой с виду.

— Какой?

— Да вот какой! — смеётся и язык высунул... Ты думаешь, он молодой? Нет, ему уже сорок два года. А твоему отцу сколько? Он кто?

— У меня дядя... — запнулся я. — Он, кажется, учёный... химик...

— А отец?

— А отец... отец... Эх, Славка, Славка! Что же ты, искал, искал контргайку, а сам её каблуком в песок затоптал — и не видишь.

Наклонившись, долго выковыривал я гайку пальцем и, сидя на корточках, счищал и сдувал с неё песчинки.

Я кусал губы от обиды. Сколько ни говорил я себе, что теперь я должен быть честным и правдивым, — язык так и не поворачивался сказать Славке, что отец у меня осуждён за растрату.

Но я и не соврал ему. Я не сказал ничего, замаял разговор, засмеялся, спросил у него, сколько сейчас времени, и сказал, что пора кончать работу.

На другой день дядя вызвался проводить меня в гости к Славке. Славка жил далеко. Домик они занимали красивый, небольшой — в одну квартиру.

Встретили нас Славка и его бабка — старуха хлопотливая, говорливая и добродушная. Дядя попросил подать ему через окно воды, но бабка пригласила его в комнаты и предложила квасу.

Дядя неторопливо пил стакан за стаканом и, прохаживаясь по комнатам, похваливал то квас, то Славку, то Славкину светлую, уютную квартиру. Он был огорчён тем, что не застал Славкиного отца дома, и через полчаса ушёл, пообещавшись зайти в другой раз.

Едва только он ушёл, бабка сразу же заставила меня насильно выпить стакан молока, съесть блин и творожную ватрушку, причём Славка — нет, чтобы за меня заступиться, — сидел на скамье напротив, болтал ногами, хохотал и подмигивал.

Потом он мне показал свой альбом открыток. Это были не теперешние открытки, а старинные, военные. Напечатанные на шершавой, грубой бумаге, теперь уже полинявшие, потёртые, они рассказывали о днях гражданской войны.

Вот стоит в синей кожанке человек. В руках блестит светло-синяя сабля. Небо синее, земля, деревья и трава — чёрно-синие.

Возле человека осталось всего четыре товарища, и на их папахи, на мужественные лица кровавыми полосами падают лучи огромной пятиконечной звезды.

Внизу, под открыткой, подпись: «Смерть шахтёр-комиссара Андрея Бугова с товарищами в бою под Кременчугом». И ещё помельче: «Напечатано походной типографией 12-й армии, 1919 г.»

— Это очень редкая открытка, — бережно разглаживая её, объяснил мне Славка. — Их всего-то, может, и было напечатано штук двести — триста. Но и вот эта тоже попадает не часто. Тут, смотри, со стихами: «Гей, гей! Не робей!» Видишь, это красные гонят Юденича. А вот без стихов... Тоже гонят. А это всадник в бой мчится. Отстал, должно быть. А на небе тучи... тучи... А это просто так... девчонка с наганом. Комсомолка, наверное. Видишь, губы сжала, а глаза весёлые. Они теперь повыврастали. У мамы подруга есть, Камкова Клавдюшка, тоже там была... Так ей теперь уже тридцать шесть, что ли... Э-э, брат! Погоди, погоди! — рассмеялся вдруг Славка. Закрыв ладонью альбом, он посмотрел на меня, потом опять в альбом, потом схватил со столика зеркало. — А это кто?

Передо мной лежала открытка, изображавшая совсем молоденького паренька в такой же, как у меня, пилотке. У пояса его висела кобура, в руке он держал трубу.

— Как кто? Сигналист! Тут так и написано.

— Это ты! — подвигая мне зеркало, обрадовался Славка. — Ну, посмотри, до чего похоже! Я ещё когда тебя в первый раз увидел — на кого, думаю, он так похож? Ну конечно, ты! Вот нос... вот и уши немного оттопырены. Возьми! — сказал он, доставая из гнезда открытку. — У меня таких две, на твоё счастье. Бери, бери да радуйся!

Молча взял я Славкин подарок. Бережно завернул его и положил к себе в бумажник.

Мы вышли на задний дворик. Огромные, почти в рост человека, торчали там лопухи, и под их широкой тенью суетливо бегали маленькие жёлтые цыплята.

— Славка, — осторожно спросил я, — а как у тебя нога? Тебе её потом совсем вылечат?

— Вылечат! — шурясь и отворачиваясь от солнца, ответил Славка. — Ну, куда, дурак? Чего кричишь? — Он схватил заблудившегося цыплёнка и бережно сунул его в лопухи. — Туда иди. Вон твоя компания. — Он отряхнул руки, прищёлкнул языком и добавил: — Нога — это плохо. Ну ничего, не пропаду. Не такие мы люди!

— Кто мы?

— Ну, мы... все...

— Кто все? Ты, папа, мама?

— Мы, люди, — упрямо повторил Славка и недоумённо по-

смотрел мне в глаза. — Ну, люди!.. Советские люди! А ты кто? Банкир, что ли?

Я отвернулся. Я вынул из кармана складной нож. Это был хороший кривой нож, крепкой стали, с дубовой полированной рукояткой и с блестящим карабинчиком. Я знал, что Славке он очень нравится.

— Возьми, — сказал я. — Дарю на память. Да бери, бери! Ты мне сигналиста подарил, и я взял!

— Но то — пустяк, — возразил Славка. — У меня есть ещё, а у тебя другого ножа нет!

— Всё равно бери! — твёрдо сказал я. — Раз я подарил, то теперь обижусь, выкину, но не возьму обратно.

— Хорошо, я возьму, — согласился Славка. — Спасибо. Только сигналист пусть в счёт не идёт. Но у меня есть карманный фонарик с тремя огнями — белый, красный и зелёный. И ты его возьмишь тоже... — Он подумал. — Только вот что: он у меня не здесь, он у мамы. Через три дня отец отвезёт меня к ней в деревню, а сам в тот же день вернётся обратно. Я его передам отцу, отец отдаст бабке, а она — тебе. Дай честное слово, что ты зайдёшь и возьмишь!

Я дал.

— Так ты уезжаешь? — пожалел я. — Далеко? Надолго?

— Надолго, до конца лета, к маме. Но это не очень далеко. Отсюда пароходом вверх по Десне километров семьдесят, а там от пристани километров десять лесом. Ну, пойдём к бабке на кухню.

— Бабушка, — сказал Славка, тыча ей под нос блестящий кривой нож. — Вот, мне подарили. Хорош ножик! Острый!

— Выкинь, Славущка! — посоветовала старуха. — Куда тебе такой страшный? Ещё зарежешься.

— Ты уж старая, — обиделся Славка, — и ничего в ножах не понимаешь. Дай-ка я что-нибудь стругану. Дай хоть вот эту каталку. Ага, не даёшь! Значит, сама видишь, что нож хороший! Бабушка, я с папой пришлю фонарь. Ну, помнишь, я ещё тебя около курятника напугал? И ты его отдашь вот этому мальчику. Погляди на него, запомнишь?

— Да запомню, запомню, — ухватив Славку белыми от муки руками, потрясла его старуха. — Вы тут стойте, не уходите, я сейчас вас кормить буду.

— Только не меня! — испугался я. — Это его... Я уже кормленный...

— Ладно, ладно! — отскакивая к двери, согласился Славка, и уже у самого порога он громко закричал: — Только я гречневой каши есть не буду-у-у!

— Врёшь, врешь! Всё будешь, — ахнула бабка и, вытирая мокрое лицо фартуком, жалобно добавила: — Кабы тебя, милый мой,

с ероплана не спихнули, я бы взяла хворостину и показала, какое оно бывает «не буду»!

Славка проводил меня до калитки, и тут мы с ним попрощались, потому что в следующие два дня он должен был принимать в клинике какие-то ванны и на площадку прийти не обещался.

Теперь, когда я узнал, что Славка уезжает, мне ещё крепче захотелось в Одессу.

Дяди дома не было. Я сел за стол у распахнутого окошка, отвинтил крышку дядиной походной чернильницы, подвинул к себе листок бумаги и от нечего делать взялся сочинять стихи.

Это оказалось вовсе не таким трудным, как говорил мне дядя.

Например, через полчаса уже получилось:

Из Одессы капитан
Уплывает в океан.
На борту стоят матросы,
Лихо курят папиросы.
На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.
Потому что, налетая,
Всем покоя не давая,
Ветер гнал за валом вал
И сурово завывал.

Выходило совсем неплохо. Я уже хотел было продолжать описание дальнейшей судьбы отважного корабля и опечаленных разлукой девиц, как меня позвала старуха.

С досадой высунулся я через окно, раздвинул ветви орешника и вежливо спросил, что ей надо.

Она приказала мне слазить в погреб и поставить для дяди на холод кринку простокваши.

Я покривился, однако тотчас же вышел и полез.

Вернувшись, я попробовал было продолжать свои стихи, но, увы, — вероятно, оттого, что в сыром, тёмном погребе я стукнулся лбом о подпорку, — вдохновение исчезло, и ничего у меня дальше не получалось.

Я решил переписать начисто то, что сделано, и положить стихи на дядин столик, чтобы он подивился новому моему таланту.

Однако хорошей бумаги на столе больше не было. Тогда я вспомнил, что в головах у дяди, под матрацем, завёрнутая в газету, лежит целая пачка.

Пачку эту я развернул, достал несколько листков и стал переписывать. Только что успел я дойти до половины, как опять меня позвала старуха. Я высунулся через окошко и теперь уже довольно грубо спросил, что ей от меня надо. Она приказала мне лезть в погреб и

достать пяток яиц, потому что ей надо ставить тесто для блинчиков, которых, конечно, дядя захочет поесть вместе с простоквашей.

Я плюнул. Выскочил. Полез. Долго возился, отыскивая впотьмах корзинку, и, вернувшись, твёрдо решил больше на старухин зов не откликаться. Сел за стол. Что такое? Листка с моими стихами на столе не было. Удивлённый и даже рассерженный, заглянул под стол, под кровать... Распахнул дверь коридора.

Нету!

И я решил, что, должно быть, в моё отсутствие в комнату заскочили два наших сумасшедших котёнка и, прыгая, кувыркаясь, как-нибудь уволокли листок за окно, в сад. Вздохнув, я взялся переписывать наново. Дописал до половины, загляделся на скачущего по подоконнику воробья и задумался.

«Вот, — думал я, — клюнет, подпрыгнет, посмотрит, опять клюнет, опять посмотрит... Ну, что, дурак, смотришь? Что ты в нашей человеческой жизни понимаешь? Хочешь? Слушай!»

Я потянулся к листку со стихами и, просто говоря, обалдел. Первых четырёх только что написанных мною строк на бумаге уже не было. А пятая, та, где говорилось о стоящих на берегу девицах, быстро таяла на моих глазах, как сухой белый лёд, не оставляя на этой колдовской бумаге ни следа, ни пятнышка.

Крепкая рука опустилась мне на плечо, и, едва не слетев со стула, я увидел незаметно подкравшегося ко мне дядю.

— Ты что же это, негодяй, делаешь? — тихо и злобно спросил он. — Это что у тебя такое?

Я вскочил, растерянный и обозлённый, потому что никак не мог понять, почему это мои стихи могли привести дядю в такую ярость.

— Ты где взял бумагу?

— Там, — и я ткнул пальцем на кровать.

— «Там, там»! А кто тебе, дряни такой, туда позволил лазить?

Тут он схватил листки, в том числе и те, где были начаты стихи об отважном капитане, осторожно разглядел их и положил обратно под матрац, в папку.

Но тогда, взбешённый непонятной руганью и необъяснимой жадностью, я плюнул на пол и отскочил к порогу.

— Что вам от меня надо? — крикнул я. — Что вы меня мучаете? Я и так с вами живу, а зачем — ничего не знаю! Вам жалко трёх листочков бумаги, а когда в вагонах... так чужого вам не жалко! Что я вас, ограбил, обокрал? Ну, за что вы на меня сейчас набросились?

Я выскочил в сад, забежал на глухую полянку и уткнулся головой в траву...

Очевидно, дяде и самому вскоре стало неловко.

— Послушай, друг мой, — услышал я над собой его голос. —

Конечно, я погорячился, и бумаги мне не жалко. Но скажи, пожалуйста... — тут голос его опять стал раздражённым, — что означают все эти твои фокусы?

Я недоумённо обернулся и увидел, что дядя тычет себе пальцем куда-то в живот.

— Но, дядя, — пробормотал я, — честное слово... я больше ничего...

— Хорошо «ничего»! Я пошёл утром переменить брюки, смотрю — и на подтяжках, да и внизу, — ни одной пуговицы! Что это всё значит?

— Но, дядя, — пожал я плечами, — для чего мне ваши брючные пуговицы? Ведь это же не деньги, не бумага и даже не конфеты. А так... дрянь! Мне и слушать-то вас прямо-таки непонятно.

— Гм, непонятно?! А мне, думаешь, понятно? Что же, по-твоему, они сами отсохли? Да кабы одна, две, а то все начисто!

— Это старуха срезала, — подумав немного, сказал я. — Это её рук дело. Она, дядя, всегда придёт к вам в комнату, меня выгонит, а сама всё что-то роется, роется... Недавно я сам видел, как она какую-то вашу коробочку себе в карман сунула. Я даже хотел было сказать вам, да забыл.

— Какую ещё коробочку? — встревожился дядя. — У меня, кажется, никакой коробочки... Ах, цветок бездумный и безмозглый! — спохватился дядя. — Это она у меня мыльный порошок для бритвы вытянула. А я-то искал, искал, перерыл всю комнату! Глупа, глупа! Я, конечно, понимаю: повороты судьбы, преклонные годы... Но ты когда увидишь её у нас в комнате, то гони в шею.

— Нет, дядя, — отказался я, — я её не буду гнать в шею. Я её и сам-то боюсь. То она меня зовёт Антипкой, то Стёпкой, а чуть что — замахивается палкой. Вы лучше ей сами скажите. Да вон она, возле клумбы цветы нюхает! Хотите, я вам её сейчас кликну?

— Постой! Постой! — остановил меня дядя. — Я лучше потом... Надоело! Ты теперь расскажи, что ты у Славки делал.

Я рассказал дяде, как провёл время у Славки, как он подарил мне сигналиста, и пожалел, что через три дня Славку отец увезёт к матери. Дядя вдруг разволновался. Он встал, обнял меня и погладил по голове.

— Ты хороший мальчик, — похвалил меня дядя. — С первой же минуты, как только я тебя увидел, я сразу понял: «Вот хороший, умный мальчик, и я постараюсь сделать из него настоящего человека». Ге! Теперь я вижу, что я в тебе не ошибся. Да, не ошибся. Скоро уже мы поедем в Одессу. Начальник мичманской школы — мой друг. Помощник по учебной части — тоже. Там тебе будет хорошо. Да, хорошо. Конечно, многое... то есть, гм... кое-что тебе кажется сейчас не совсем понятным, но всё, что я делаю, это

только во имя... и вообще для блага... Помнишь, как у Некрасова: «Вырастешь, Саша, узнаешь...»

— Дядя, — задумчиво спросил я, — а вы не изобретатель?

— Тс... — приложив палец к губам и хитро подмигнув мне, тихо ответил дядя. — Об этом пока не будем... ни слова!

Дядя стал ласков и добр. Он дал мне пятнадцать рублей, чтобы я их, на что хочу, истратил. Похлопал по правому плечу, потом по левому, легонько ткнул кулаком в бок и, сославшись на неотложные дела, тотчас же ушёл.

Прошло три дня. Со Славкой повидаться мне так и не удалось — в парк он больше не приходил.

Бегая днём по городу, я остановился у витрины писчебумажного магазина и долго стоял перед большой географической картой.

Вот она и Одесса! Рядом города — Херсон, Николаев, Тирасполь, слева — захваченная румынами страна Бессарабия, справа — цветущий и знойный Крым, а внизу, далеко, до Кавказа, до Турции, до Болгарии, раскинулось Чёрное море...

...И волны бушуют вдали...
Товарищ, мы едем далёко,
Далёко от здешней земли.

Нетерпение жгло меня и мучило.

Я заскочил в лавку и купил компас. Вышел и остановился у витрины опять.

А вот он и север! Кольский полуостров. Белое море. Угрюмое море, холодное, ледяное. Где-то тут, на канале, работает мой отец. Последний раз он писал откуда-то из Сороки.

Сорока... Сорока! Вот она и Сорока. Вообще-то отец писал помалу и редко. Но в последний раз он прислал длинное письмо, из которого я, по правде сказать, мало что понял. И если бы я не знал, что отец мой работает в лагерях, где вином не торгуют, то я бы подумал, что писал он письмо немного выпивши.

Во-первых, письмо это было не грустное, не виноватое, как прежде, а с первых же строк он выругал меня за «хвосты» по математике.

Во-вторых, он писал, что каким-то взрывом ему оторвало полпальца и ушибло голову, причём писал он об этом таким тоном, как будто бы там был бой и есть после этого чем похвалиться.

В-третьих, совсем неожиданно он как бы убеждал меня, что жизнь ещё не прошла и что я не должен считать его ни за дурака, ни за человека совсем пропавшего.

И это меня тогда удивило, потому что я был не слепой и никогда не думал, что жизнь уже прошла. А если уж и думал, то скорей так: что жизнь ещё только начинается. Кроме того, ни-

когда не считал я отца за дурака и за пропащего. Наоборот, я считал его и умным и хорошим, но только если бы он не растрачивал для Валентины казённых денег, то было бы, конечно, куда как лучше!

И я решил, что, как только поступлю в мичманскую школу, тотчас же напишу отцу. А что это будет так — я верил сейчас крепко.

Задумавшись и улыбаясь, стоял я у блестящей витрины и вдруг услышал, что кто-то меня зовёт:

— Мальчик, пойди-ка сюда!

Я обернулся. Почти рядом, на углу, возле рычага, который управляет огнями светофора, стоял милиционер и рукой в белой перчатке подзывал меня к себе.

«ГО-48-64!» — вздрогнул я. И вздрогнул болезненно резко, как будто кто-то из прохожих приложил горячий окурочок к моей открытой шее.

Первым движением моим была попытка бежать. Но подошвы как бы влипли в горячий асфальт, и, зашатавшись, я ухватился за блестящие поручни перед витриной магазина.

«Нет, — с ужасом подумал я, — бежать поздно! Вот она и расплата!»

— Мальчик! — повторил милиционер. — Что же ты стал? Подходи быстрее.

Тогда медленно и прямо, глядя ему в глаза, я подошёл.

— Да, — сказал я голосом, в котором звучало глубокое человеческое горе. — Да! Я вас слушаю!..

— Мальчик, — сказал милиционер, мгновенно перекидывая рычаг с жёлтого огня на зелёный, — будь добр, перейди улицу и нажми у ворот кнопку звонка к дворнику. Мне надо на минутку отлучиться, а я не могу.

Он повторил это ещё раз, и только тогда я его понял.

Я не помню, как перешёл улицу, надавил кнопку и тихо пошёл было своей дорогой, но почувствовал, что идти не могу, и круто свернул в первую попавшуюся подворотню.

Крупные слёзы катились по моим горячим щекам, горло вздрагивало, и я крепко держался за водосточную трубу.

— Так будь же всё проклято! — гневно вскричал я и ударил носком по серой каменной стене — Будь ты проклята, — бормотал я, — такая жизнь, когда человек должен всего бояться, как кролик, как заяц, как серая трусливая мышь! Я не хочу так! Я хочу жить, как живут все, как живёт Славка, который может спокойно надавливать на все кнопки, отвечать на все вопросы и глядеть людям в глаза прямо и открыто, а не шараться и чуть не падать на землю от каждого их неожиданного слова или движения.

Так стоял я, вздрагивая; слёзы катились, падали на осыпанные извёсткой сандалии, и мне становилось легче.

Кто-то тронул меня за руку.

— Мальчик, — участливо спросила меня молодая незнакомая женщина, — ты о чём плачешь? Тебя обидели?

— Нет, — вытирая слёзы, ответил я, — я сам себя обидел.

Она улыбнулась и взяла меня за руку:

— Но разве может человек сам себя обидеть? Ты, может быть, ушибся, разбился?

Я замотал головой, сквозь слёзы улыбнулся, пожал ей руку и выскочил на улицу.

Кто его знает почему, мне казалось, что счастье моё было уже недалеко.

И в этот день я был крепок. Меня не разбило громом, и я не упал, не закричал и не заплакал от горя, когда, спустившись по откосу, я пролез через дыру забора и увидел у нас в саду проклятого старика Якова.

Он сидел спиной ко мне, и они о чём-то оживлённо разговаривали с дядей. Надо было собраться с мыслями.

Я проскользнул за кусты и боком, боком, вокруг холма с развалинами беседки, вышел к крылечку и прокрался наверх.

Вот я и у себя в комнате. Схватил графин, глотнул из горлышка. Поперхнулся. Зажав полотенцем рот, тихонько откашлялся. Осмотрелся. Очевидно, старик Яков появился здесь ещё совсем недавно. Полотенце было сырое — не просохло. На подоконнике валялся только один окурок, а старик Яков, когда не притворялся больным, курил без перерыва. На кровати валялись дядина кепка и мятая газета. Вот и всё! Нет, не всё. Из-под подушки торчал кончик портфеля. Я глянул в окно. Через листву черёмухи я видел, что оба друга всё ещё разговаривают. Я открыл портфель.

Салфетка, рубашка, два галстука, помазок, бритва, красные мужские подвязки. Картонная коробочка из-под кофе. Внутри что-то брякает. Раскрыл. Орден Трудового Знамени, орден Красной Звезды, значок МОПР, иголки, катушка ниток, пузырёк с валериановыми каплями. Ещё носки, носки... А это?

И я осторожно вытащил из уголка портфеля чёрный браунинг.

Тихий вопль вырвался у меня из груди. Это был как раз тот самый браунинг, который принадлежал мужу Валентины и лежал во взломанном мною ящике. Ну да!.. Вот она, выщербленная рукоятка. Выдвинул обойму. Так и есть: шесть патронов, и одного нет.

Я положил браунинг в портфель, закрыл, застегнул и сунул под подушку.

«Что же делать? А что делается сейчас дома? Плевать там, ко-

нечно, на сломанный замок, на проданную горжетку! Горько и плохо, должно быть, пришлось молодому Валентининому мужу. Могут выругать и простить человека за потерянный документ. Без лишних слов вычтут потерянные деньги. Но никогда не простят и не забудут человеку, что он не смог сберечь боевое оружие! Оно не продаётся и не покупается. Его нельзя сработать поддельным, как документ, или даже фальшивым, как деньги. Оно всегда суровое, грозное и настоящее».

Кошкой отпрыгнул я к террасе и бесшумно повернул ключ, потому что по лестнице кто-то поднимался. Но это был не Яков и не дядя — они всё ещё сидели в саду.

Я присел на корточки и приложил глаз к замочной скважине.

Вошла старуха.

Лицо её показалось мне что-то чересчур весёлым и румяным. В одной руке она держала букет цветов, в другой — свою лакированную палку. Цветы она поставила в стакан с водой. Потом взяла с тумбочки дядино зеркало. Посмотрела в него, улыбнулась. Потом, очевидно, что-то ей в зеркале не понравилось. Она высунула язык, плюнула. Подумала. Сняла со стены полотенце и плевков с пола вытерла. «Ах ты, старая карга! — рассердился я. — А я-то этим полотенцем лицо вытираю!»

Потом старуха примерила белую кепку. Пошарила у дяди в карманах. Достала целую пригоршню мелочи. Отобрала одну монетку — я не разглядел, не то гривенник, не то две копейки, — спрятала себе в карман. Прислушалась. Взяла портфель. Порылась, вытянула одну красную мужскую подвязку старика Якова. Поддержала её, подумала и сунула в карман тоже. Затем она положила портфель на место и лёгкой, пританцовывающей походкой вышла из комнаты.

Мгновенно вслед за ней очутился я в комнате. Вытянул портфель, выдернул браунинг и спрятал в карман. Сунул за пазуху и оставшуюся красную подвязку. Бросил на кровать дядины штаны с отрезанными пуговицами. Подвинул на край стола стакан с цветами, снял подушку, пролил одеколон на салфетку и соскользнул через окно в сад.

Очувшись позади холма, я взобрался к развалинам беседки. Сорвал лист лопуха, завернул браунинг и задвинул его в расщелину. Спустился. Вылез через дыру. Прошмыгнул кругом вдоль забора и остановился перед калиткой.

Тут я перевёл дух, вытер лицо, достал из кармана компас и громко напевая: «По военной дороге...» — распахнул калитку.

Дядя и старик Яков сразу же обернулись.

Как бы удивлённый тем, что увидел старика Якова, я на секунду оборвал песню, но тотчас же, только потише, запел снова. Подошёл, поздоровался и показал компас.

— Дядя, — сказал я, — посмотрите на компас. В какой стороне отсюда Одесса?

— Моряк! Лаперузо! Дитя капитана Гранта! — похвалил меня дядя, очевидно, довольный тем, что я не нахмурился и не удивился, увидев здесь старика Якова, который был теперь наголо брит — без усов, без диагоналевой гимнастёрки с орденом, а в просторном парусиновом костюме и в соломенной шляпе. — Вон в той стороне Одесса. Сегодня мы проводим старика Якова на пристань к пароходу: он едет в Чернигов к своей больной бабушке, а тем временем я отвезу тебя в Одессу.

Это было что-то новое. Но я не показал виду и молча кивнул головой.

— Ты должен быть терпелив, — сказал дядя. — Терпение — свойство моряка. Помню, как-то плыли мы однажды в тумане... Впрочем, расскажу потом. Ты где бегал? Почему лоб мокрый?

— Домой торопился, — объяснил я. — Думал, как бы не опоздать к обеду.

— Нас сегодня старик Яков угощает, — сообщил дядя — Не правда ли, добряк, ты сегодня тряхнёшь бумажником? Ты подожди, Сергей, минутку, а мы зайдём в комнату. Там он с дороги отряхнётся, почистится, и тогда двинем к ресторану.

Я проводил их взглядом, сел на скамью и, поглядывая на компас, принялся чертить на песке страны света.

...Не прошло и трёх минут, как по лестнице раздался топот, и на дорожку вылетел дядя, а за ним, без пиджака, в сандалиях на босу ногу, старик Яков.

— Сергей! — закричал он. — Не видел ли ты здесь старуху?

— А она, дядечка, на заднем двореике голубей кормит. Вот, слышите, как она их зовёт? «Гугл, гули!»

— «Гули, гули!» — хрипло зарычал старик Яков. — Я вот ей покажу «гули, гули»!

— Только ласково! Только ласково! — предупредил на ходу дядя. — Тогда мы сейчас же... Мы это разом...

Голуби с шумом взметнулись на крышу, а старуха с беспокойством глянула на подскочивших к ней мужчин.

— Только тише! Только ласково! — оборвал дядя старика Якова, который начал чертыхаться ещё от самой калитки.

— Добрый день, хорошая погода! — торопливо заговорил дядя. — Птица-голубь — дар божий. Послушайте, мамаша, это вы нам сейчас принесли в комнату разные... цветочки, василёчки, лютики?

— Для своих друзей, — начала было старуха, — для хороших людей... Ай-ай!.. Что он на меня так смотрит?

— Отдай добром, дура! — заорал вдруг старик Яков. — Не то тебе хуже будет!

— Только ласково! Только ласково! — загремел на Якова дядя. — Послушайте, дорогая: отдайте то, что вы у нас взяли. Ну, на что вам оно? Вы женщина благоразумная (молчи, Яков!), лета ваши преклонные... Ну, что вы, солдат, что ли? Вот видите, я вас прошу... Ну, смотрите, я стал перед вами на одно колено... Да затвори, Яков, калитку! Кого ещё там чёрт несёт?!

Но затворять было уже поздно: в проходе стоял бородатый старухин сын и с изумлением смотрел на выпучившую глаза старуху и коленопреклонённого дядю. Дядя подпрыгнул, как мячик, и стал объяснять, в чём дело.

— Мама, отдайте! — строго сказал её сын. — Зачем вы это сделали?

— Но на память! — жалобно завопила старуха. — Я только хотела на добрую, дорогую память!

— На память! — взбесился тогда не вытерпевший дядя. — Хватайте её! Берите!.. Вон он лежит у неё в кармане!

— Натё! Подавитесь! — вдруг совершенно спокойным и злым голосом сказала старуха и бросила на траву красную резиновую подвязку.

— Это моя подвязка! — торжественно сказал старик Яков. — Сам на днях покупал в Гомеле. Давай выкладывай дальше!

Старуха швырнула ему под ноги две копейки и вывернула карман. Больше в карманах у неё ничего не было. Два часа бились трое мужчин со старухой, угрожали, уговаривали, просили, кланялись... Но она только плевалась, ругалась и даже изловчилась ударить старика Якова по затылку палкой.

До отплытия черниговского парохода времени оставалось уже немного, и тогда, охрипшие, обзлётанные, дядя и Яков пошли одеваться.

Старик Яков переменял взмокшую рубаху. С удивлением глядел я на его могучие плечи: у него было волосатое загорелое туловище, и, как железные шары, перекачивались и играли под кожей мускулы.

«Да, этот кривоногий дуб ещё пошумит, — подумал я. — А ведь когда он оденется, согнётся, закашляет и схватится за сердце, ну как не подумать, что это и правда только болезненный беззубый старикашка!»

Перед тем как нам уже уходить на пристань, подошёл старухин сын и сообщил, что в уборной в яме плавает вторая красная подвязка.

Тут все вздохнули и решили, что полоумная старуха там же, по злобе, утопила и браунинг.

Но делать было нечего! Самим в яму лезть, конечно, никому не вздумалось, а привлекать к этому тёмному делу посторонних никто не захотел.

Я смотрел на холм с развалинами каменной беседки, думал о своём и, конечно, молчал.

На речной вокзал мы пришли рано. Только ещё объявили посадку, и до отхода оставался час. Старик Яков быстро прошёл в каюту и больше не выходил оттуда ни разу.

Мы с дядей бродили по палубе, и я чувствовал, что дядя чем-то встревожен. Он то и дело оставлял меня одного, под видом того, что ему нужно то в умывальник, то в буфет, то в киоск, то к старику Якову.

Наконец он вернулся чем-то обрадованный и протянул мне пригоршню белых черешен.

— Ба! — удивлённо воскликнул он. — Посмотри-ка! А вот идёт твой друг Славка!

— Разве тебе ехать в эту сторону? — бросаясь к Славке, спросил я.

— Я же тебе говорил, что вверх, — ответил Славка. — Ну-ка, посмотри, вода течёт откуда?.. А ты куда? До Чернигова?

— Нет, Славка! Мы только провожаем одного знакомого.

— Жаль! А то вдвоём прокатились бы весело. У отца в каюте бинокль сильный... восьмикратный.

— Глядите, — остановил нас дядя. — Вон на воде какая комедия!

Крохотный сердитый пароходишко, чёрный от дыма, отчаянно колотил по воде колёсами и тянул за собой огромную, гружённую лесом баржу.

Тут я заметил, что мы остановились как раз перед окошком той каюты, что занимал старик Яков, и сейчас оттуда, сквозь щель меж занавесок, выглядывали его противные выпученные глаза. «Сидишь, сыч, а свету боишься», — подумал я и потащил Славку на другое место.

Пароход дал второй гудок.

Дядя пошёл к Якову, а мы попрощались со Славкой.

— Так не забудь зайти за фонарём, — напомнил он. — Отец вернётся завтра обязательно.

— Ладно, зайду! Прощай, Славка! Будь счастлив!

— И ты тоже! Гей, папа! Я здесь! — крикнул он и бросился к отцу, который с биноклем в руках вышел на палубу.

Раньше, до ареста, у моего отца был наган, и я уже знал, что каждое оружие имеет свой единственный номер и, где бы оно ни оказалось, по этому номеру всегда разыщут его владельца.

Утром я вытряхнул печенье из фанерной коробки, натолкал газетной бумаги, положил туда браунинг, завернул коробку, туго перевязал бечёвкой и укладкой от дяди вышел на улицу.

Тут я спросил у прохожего, где здесь в Киеве «стол находок».

В Москве из такого «стола» Валентина получила однажды позабытый в трамвае свёрток с кружевами.

«Киев, — думал я, — город тоже большой, следовательно, и тут люди теряют всякого добра немало».

Мне объяснили дорогу.

Я рассчитывал, что, зайдя в этот «стол находок», я суну в окошечко свёрток. «Вот, — скажу, — посмотрите, что-то там нашёл, а мне некогда». И сейчас же удалюсь прочь. Пусть они как там хотят, так и разбираются.

Но первое, что мне не понравилось, — это то, что «стол» оказался при управлении милиции.

Поколесившись, я всё же вошёл. Дежурный указал мне номер комнаты. Никакого окошечка там не было.

Позади широкого барьера сидел человек в милицейской форме, а на столе перед ним лежали разные бумаги и тут же блестящая калоша огромных размеров.

В очереди передо мной стояли двое.

— Итак, — спрашивал милиционер востроносого и рыжеусого человека, — ваше имя — Павло Фёдоров Павлюченко. Адрес: Большая Красноармейская, сорок. Означенная калоша, номер четырнадцатый, на левую ногу, обнаружена вами у ворот, проходя в пивную лавку номер сорок шесть. Так ли я записал?

— Так точно, — ответил рыжеусый. — Я как был вчера выпивши, то, значит, зашёл сегодня, чтобы опять... этого самого...

— Это к факту не относится, — перебил его милиционер. — Получайте квиток и расписывайтесь.

— Это я распишусь — отчего же! Гляжу я... Мать честная! Лежит она, самая калоша... сияет. Я искал, искал — другой нету. Я человек честный, мне чужого не надо. Кабы ещё пара, а то одна. Дай, думаю, отнесу! Может, и потерял её свой же брат, труженик.

— Одна! — сурово заметил милиционер. — Кабы и пара, всё равно снести надо. Этакое глупое у вас разумение... Значит, сюда только и тащи, что самому не надо? Подходи следующий.

— Я человек честный, — пряча квитанцию, бормотал ружеусый. — Мне не то что две... три нашёл, и то снёс бы. Да кака-така нога номер четырнадцатый? Вон у меня нога... в самый раз... аккуратная. А это что же? На столбы обувка?..

Пошатываясь, он пошёл к выходу, а вслед за ним проскользнул и я.

«Нет, думал я, — если из-за одной калоши тут столько распросов, то с моей находкой скоро мне не отвертеться».

Опечаленный, вернулся я домой и засунул браунинг на прежнее место. Надо было придумывать что-то другое.

К вечеру я побежал на окраину, к Славкиной бабке.

Не приезжал отец! — сказала она. — И то три раза из управления звонили да два раза с завода... Ну вот, слышите? Опять звонят- И, отодвинув шипящую сковородку, она вперевалку пошла к телефону.

Чистая напасть! — вздохнула она, вернувшись. — Ну, задержался, ну, не угадал к пароходу... Так не дадут дня человеку побить с женой да с матерью! Завтра приходи, милый! Да куда ж ты?.. Скушай пирожка, котлетку! Я и то наготовила, а есть некому.

Я поблагодарил добрую старуху, но от еды отказался.

По пути на площади мне попался киоск справочного бюро. Из любопытства подошёл поближе и прочёл, что в числе прочих здесь выдаются справки об условиях приёма во все учебные заведения. И цена всему этому делу полтинник.

Тогда я заполнил бланк на мичманскую школу города Одессы. За ответом велели приходить через полчаса.

В ожидании я пошёл шататься по соседним улочкам, заглядывая в лавки, магазины, а то и просто в чужие окна.

Наконец-то полчаса прошли! Помчался к киоску. Схватил пропущенную мне бумажку.

...Никакой мичманской школы в Одессе нет и не было.

Я зашатался. Горе моё было так велико, что я не мог даже плакать, и мне тогда хотелось, чтобы дядю этого убило громом или пусть бы он остуился и полетел вниз головой с обрыва в Днепр. На душе было пусто и холодно. Ничего теперь впереди не светило, не обнадёживало и не согревало.

Домой возвращаться не хотелось, но идти больше было мне некуда. И тогда я решил, что завтра же обворую дядю, украду рублей сто или двести и уйду куда глаза глядят. Может быть, проберусь к морю и наймусь на пароход. А может быть, спрячусь тайком в трюме, в открытом море матросы ведь не выбросят... Впрочем, чего жалеть? Может быть, и выбросят... Вздор! Мысли путались.

Пришёл домой и сразу лёг спать. Когда вернулся дядя, я не слышал. Ночью дядя дернул меня за руку:

Ты чего кричишь? Ляжь, как надо, а то ишь разбросался! И надо тебе целый день по солнцу шататься!

Я повернулся и точно опять куда-то провалился.

Проснулся. Солнце. Зелень. Голова горячая. Дяди уже не было. Попробовал было выпить молока и съесть булки — невкусно.

Тогда, вспомнив вчерашнее решение, лениво и неосторожно стал обшаривать чемоданы. Денег не нашёл. Очевидно, дядя носил их с собой.

Вышел и задумчиво побрёл куда-то. Щёки горели, и во рту было сухо. Несколько раз останавливался я у киосков и жадно пил ледяную воду.

Устал наконец и сел на скамейку под густым каштаном. Глубокое безразличие овладело мной, и я уже не думал ни о дяде, ни о старике Якове. Мелькали обрывки мыслей, какие-то цветные картинки. Поле, луг, речка. Тиль-тиль, тир-люли! И я опять вспоминаю: отец и я. Он поёт:

Между небом и землёй
Жаворонок вьётся...

«Папа, — говорю ему я, — это замечательная песня, но это же, право, не солдатская!» — «Как не солдатская? — и он хмурится. Ну, вот весна, пахнет разогретой землёй. Наконец-то сверху не сыплет снег, не каплет дождь, а греет через шинель тёплое солнышко. Вот залегла цепь... Боя ещё нет. А он сверху: тиль-тиль, тирлюли, тирлюли! Спокойно кругом, тихо... И вот тебе кажется, я лежу с винтовкой... А ведь кто-нибудь вспомнит и про меня и вздохнёт украдкой. Как же не солдатская? Ну что? Теперь понял?» — «Да, да! Понял!»

Кто-то тронул меня за плечо. Лениво открыл я глаза и в страхе зажмурился снова.

Передо мной стоял тот самый пожилой человек, которого мы ограбили в вагоне. Я был брит, без пилотки, лицо моё загорело, лоб был влажен; он же был чем-то расстроен и не узнал меня.

— Мальчик, — спросил он, показывая на калитку, — ты не видел, хозяйка давно ушла из этого дома?

Молча качнул я головой.

— Э! Да ты, я вижу, братец, совсем спишь! — с досадой сказал он и, крикнув что-то шофёру, вскочил в машину и уехал.

Я огляделся и только теперь понял, что давно уже сижу на скамейке возле Славкиного дома и что человек этот только что стучался в их запертую калитку.

Быстро глянул я на табличку с названием улицы и номером дома. Когда-нибудь напишу я Славке письмо.

Что-то вокруг странно всё, дико и непонятно.

Выхватил карандаш и торопливо стал отыскивать в бумажнике клочок чистой бумаги, чтобы записать адрес.

Нашёл! Стоп! Карандаш задрожал и упал на камни, а я, придерживаясь за ограду, снова опустился на скамью.

Это был клочок, который дала мне в парке при прощании Ни-

на. На нём был записан телефон. И это был как раз тот самый номер, которого я боялся больше смерти:

«ГО-48-64»

Так, значит, это искала меня не милиция! Но кто же? Зачем? Но, может быть, я ошибся и в газете телефон записан совсем не тот? Надо было проверить. Скорей! Сейчас же!

Ни усталости, ни головной боли я больше не чувствовал. Добежал до угла и на повороте столкнулся со Славкиной бабкой. Её вела под руку незнакомая мне женщина.

Я остановился и сказал ей, что за ней только что приезжала машина.

— Машина? — тихо переспросила она, и губы её задргались. — Ах, что мне машина! Я и сама уже всё знаю.

Я взглянул на неё и ужаснулся: глаза её впали, лицо было чужое, серое. И дрожащим голосом она рассказала мне, что в лесу на обратном пути кто-то ударил Славкиного отца ножом в спину и сейчас он в больнице лежит при смерти.

Грозные и гневные подозрения сдавили мне сердце. Лоб мой горел. И, как шальной конь, широко разметавший гриву, я помчался домой узнавать всю правду.

Дома на столе я нашёл записку. Дядя строго приказывал мне никуда не отлучаться, потому что сегодня мы поедем в Одессу.

По столу были разбросаны окурки, на кровати лежала знакомая соломенная шляпа. Из Чернигова от «больной бабушки» старик Яков вернулся что-то очень скоро.

— Убийцы! — прошептал я помертвевшими губами. — Вы сбросите меня под колёса поезда, и плыви тогда капитан в далёкую Индию... Так вот зачем я был вам нужен!

«Пойди познакомься, — вспомнил я разговор в парке, — он мальчик, кажется, хороший». Бандиты, с ужасом понял я, а может быть, и шпионы!

Тут колени мои вздрогнули, и я почувствовал, что, против своей воли, сажусь на пол.

Кое-как бухнулся в кровать, дотянулся до графина. Жадно пил.

«ГО-48-64»

Вынул газету. Да, номер тот же самый! Лёг. Лежал. Сон — не сон. Полудрёма.

«Эх, дурак я, дурак! Так вот и такие бывают шпионы, добрые!.. “Скушай колбасы, булку...” “Кругом аромат, цветы, природа”. А праздник — весёлое Первое мая? А гром и грохот Красной Армии? А, не для вас же, чтоб вы сдохли, плакал я, когда видел в кино, как гибнет в волнах Чапаев!..»

Я вскочил, рванулся к пыльному телефону и позвонил.

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре.

— Но то в Москве, а это Киев, — ответил мне удивлённый голос. — Даю вам междугородную.

Опять голос:

— Слушает междугородная!

— Дайте мне: Арбат ноль сорок восемь шестьдесят четыре, — всё тем же усталым и настойчивым голосом попросил я.

— Москва занята, — певуче ответил телефон. — Наш лимит ещё тридцать минут. На очереди три разговора. Если останется время, я вас вызову. Повторите номер.

Ничего я не понял. Повторил и уткнулся головой в подушку. Сон навалился сразу. Капитан стоял на мостике и хотел пить. Но вода была сухая и шуршала, как газетная бумага.

Опять звонок. Длинный-длинный. Опомнился и сразу к телефону.

Г о л о с . Через три минуты с вами будет говорить Москва. Разговор не задерживайте: в вашем распоряжении остаётся пять минут.

Стало легче.

И вдруг — на лестнице шаги. Шли двое, всё рухнуло! Но откуда взялась ловкость и сила? Я перемахнул через подоконник и, упираясь на выступ карниза, прижался к стене.

Г о л о с д я д и . А мальчишки всё нет. Вот проклятый мальчишка!

Я к о в . Чёрт с ним! Надо бы торопиться.

Д я д я (ругательство). Нет, подождём немного. Без мальчишки нельзя. Его сразу схватят, и он нас выдаст.

Я к о в (ругательство). Вот ещё бестолковый дьявол! (Ругательство, ещё и ещё ругательство.)

Звонок по телефону. Я замер.

Я к о в . Не подходи!

Д я д я . Нет, почему же? (В трубку.) Да! (Удивлённо.) Какая Москва? Вы, дорогая, ошиблись, мы Москву не вызывали. (Трубка повешена.) Чёрт его знает что: «Сейчас с вами будет говорить Москва»!

Опять звонок

Д я д я . Да нет же, не вызывали! Как вы не ошибаетесь? С кем это вы только что говорили? А я вам говорю, что весь день сижу в комнате и никто не подходил к телефону. Как вы смеее говорить, что я хулиганю? (Трубка брошена. Торопливо.) Это что-то не то! Давай-ка собирайся, старик Яков!

«Они сейчас уйдут! — понял я. — Сейчас они выйдут и меня увидят».

Я соскользнул на траву; обжигаясь крапивой, забрался на холмик и лёг среди развалин каменной беседки.

«Теперь хорошо! Пусть уйдут эти страшные люди. Мне их не надо... Уходите далеко прочь! Я один! Я сам!»

«Как уйдут? — строго спросил меня кто-то изнутри. — А разве можно, чтобы бандиты и шпионы на твоих глазах уходили, куда им угодно?»

Я растерянно огляделся и увидел между камнями пожелтевший лопух, в который был завёрнут браунинг.

«Выпрямляйся, барабанщик! — повторил мне тот же голос. — Выпрямляйся, пока не поздно».

— Хорошо! Я сейчас, я сию минуточку, — виновато прошептал я.

Но выпрямляться мне не хотелось. Мне здесь было хорошо — за сырыми, холодными камнями.

Вот они вышли. Чемоданы брошены, за плечами только сумки. Что-то орут старухе. Она из окошка показывает им язык. Остановились. Пошли.

Они не хотят идти почему-то через калитку — через улицу, а направляются в мою сторону, чтобы мимо беседки, через дыру забора, выйти на глухую тропку.

Я зажмурил глаза. Удивительно ярко представился мне горящий самолёт, и, как брошенный камень, оттуда летит хрупкий белокурый товарищ мой — Славка.

Я открыл глаза и потянулся к браунингу.

И только что я до него дотронулся, как стало тихо-тихо. Воздух замер. И раздался звук, ясный, ровный, как будто бы кто-то задел большую певучую струну и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.

Звук всё нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.

«Выпрямляйся, барабанщик! — уже тепло и ласково подсказал мне всё тот же голос. — Встань и не гнись! Пришла пора!»

И я сжал браунинг. Встал и выпрямился.

Как будто бы легла поперёк песчаной дороги глубокая пропасть — разом остановились оба изумлённых друга.

Но это длилось только секунду. И окрик их, злобный и властный, показал, что ни меня, ни моего оружия они совсем не боятся.

Так и есть! С перекошенными ненавистью и презрением лицами они шли на меня прямо.

Тогда я выстрелил раз, другой, третий... Старик Яков вдруг остановился и неловко попятился.

Но где мне было состязаться с другим матёрым волком, опасным и беспощадным снайпером! И в следующее же мгновение пуля, выпущенная тем, кого я ещё так недавно звал дядей, крепко заткнула мне горло.

Но, даже падая, я не переставал слышать всё тот же звук, чистый и ясный, который не смогли заглушить ни внезапно загремевшие по саду выстрелы, ни тяжёлый удар разорвавшейся неподалёку бомбы.

Гром пошёл по небу, а тучи, как птицы, с криком неслись против ветра.

И в сорок рядов встали солдаты, защищая штыками тело барабанщика, который пошатнулся и упал на землю.

Гром пошёл по небу, и тучи, как птицы, с криком неслись против ветра. А могучий ветер, тот, что всегда гнул деревья и гнал волны, не мог прорваться через окно и освежить голову и горло метавшегося в бреду человека. И тогда, как из тумана, кто-то властно командовал: «Принесите льду! (Много-много, целую большую плавучую льдину!) Распахните окна! (Широко-широко, так, чтобы совсем не осталось ни стен, ни душной крыши!) Быстро приготовьте шприц! Теперь спокойней!..»

Гром стих. Тучи стали. И ветер прорвался наконец к задыхавшемуся горлу...

Сколько времени всё это продолжалось, я, конечно, тогда не знал.

Когда я очнулся, то видел сначала над собой только белый потолок, и я думал: «Вот потолок — белый».

Потом, не поворачивая головы, искоса через пролёт окна видел краешек голубого неба и думал: «Вот небо — голубое».

Потом надо мной стоял человек в халате, из-под которого виднелись военные петлицы, и я думал: «Вот военный человек в халате».

И обо всём я думал только так, а больше никак не думал.

Но, должно быть, продолжалось это немало времени, потому что, проснувшись однажды утром, я увидел на солнечном подоконнике, возле букета синих васильков, полное блюдце ярко-красной спелой малины.

И я удивился, смутно припоминая, что ещё недавно в каком-то саду (в каком?) малина была крошечная и совсем зелёная.

Я облизал губы и тихонько высвободил плечо из-под лёгкого покрывала.

И это первое, вероятно, осмысленное моё движение не прошло незамеченным. Тотчас же передо мной стала девушка в халате и спросила:

— Ну что? Хочешь малины?

Я кивнул головой. Она взяла блюдечко, села на край постели и осторожно стала опускать мне в рот по одной ягодке.

— Я где? — спросил я. — Это какой город?

— Это не город. Это Ирпень! — И, так как я не понял, она быстро повторила: — Это Ирпень — дачное такое место недалеко от Киева.

— Ах, от Киева?

И я всё вспомнил.

Прошла ещё неделя. Вынесли в сад кресло-качалку, и теперь целыми днями сидел я в тени под липами.

Пробитое пулей горло заживало. Но разговаривать мог я ещё только вполголоса.

Два раза приходил ко мне человек в военной форме. И тут же, в саду, вели мы с ним неторопливый разговор.

Всё рассказал я ему про свою жизнь, по порядку, ничего не утаивая. Иногда он просто слушал, иногда что-то записывал.

Однажды я спросил у него, кто такой был Юрка.

— Юрка?... Это был мелкий мошенник.

— А тот... артист? Ну, что сошёл с поезда в Серпухове?

— Это был крупный наводчик-вор.

— А старик Яков?

— Он был не старик, а просто старый бандит.

— А он... Ну, который дядя?

— Шпион, — коротко ответил военный.

— Чей?

Человек усмехнулся. Он не ответил ничего, затянулся дымом из своей кривой трубки, сплюнул на траву и неторопливо показал рукой в ту сторону, куда плавно опускалось сейчас багровое вечернее солнце.

— Ну, вот видишь? Так со ступеньки на ступеньку, и вот наконец до кого ты добрался. Теперь тебе всё ясно?

Это меня задело.

— Добрался! Так кто же такой, по-вашему, я?

— Когда: теперь или раньше? Сейчас ты поумнел... Ещё бы!.. А раньше был ты перед ними круглый дурак. Но не сердись, не хмурься. Ты ещё мальчуган, а эти волки и не таких, как ты, бывало, обрабатывали.

Он вытащил из папки фотоснимок:

— Не узнаёшь?

Ещё бы! Вот она, церковь, скамья. Вот он, — ишь ты, как улыбается, — дядя. А вот он выпучил глаза — старик Яков.

— Так вы ещё в Москве догадались достать кассеты у Валентины из ящика и проявить их?

— Да, мы давно обо всём догадались. Но вас разыскать нелегко было.

Теперь он вытянул листок бумаги и, хитро глянув на меня, продекламировал:

На берегу стоят девицы,
Опечалены их лица.

— Это ты сочинил?

— Да, — сознался я. — Но скажите, что это за листы? И ещё скажите: что это были за склянки и почему так часто пахло лекарством?

— Мальчик, — ответил он, — ты не должен у меня ничего спрашивать! Отвечать я тебе не могу и не стану.

— Хорошо, — согласился я. — Но я уже и сам догадываюсь: это, наверно, был какой-нибудь секретный состав для бумаги!

— А это догадывайся сам, сколько тебе угодно.

— Ладно, — сказал я. — Я ничего не буду спрашивать. Только одно: Славкин отец умер?

— Жив, жив! — охотно ответил он. — Я и позабыл, что он тебе велел кланяться.

— За что? — удивился я.

— За что? Гм... гм... — Он посмотрел на часы. — Ну, прощай, поправляйся! Больше я не приду. Да, — он остановился и улыбнулся. — Нет, — и он опять улыбнулся. — Нет, нет! Скоро всё сам узнаешь.

...У ног моих лежал маленький, поросший лилиями пруд. Тени птиц, пролетавших над садом, бесшумно скользили по его тёмной поверхности. Как кораблик, гонимый ветром, бежал неведомо куда сточенный червём или склюнутый птахой и рано сорвавшийся с дерева листок. Слабо просвечивали со дна зеленовато-прозрачные водоросли.

Тут я мог сидеть часами и быть спокоен. Но стоило мне поднять голову — и, когда передо мной раскидывались широкие желтеющие поля, когда за полями, на горизонте, голубели деревеньки, леса, рощи, когда я видел, что мир широк, огромен и мне ещё непонятен, тогда казалось, что в этом маленьком саду мне не хватит воздуха. Я открывал рот и старался дышать чаще и глубже, и тогда охватывала меня необъяснимая тоска.

Вдруг примчался ко мне Славка. Я его узнал, ещё когда он сходил с легковой машины.

В замешательстве, как бы ища опоры, я оглянулся.

Но с первых же слов он меня перебил, замахал руками и засмеялся.

— Я всё знаю! Я больше тебя знаю! Ты лежишь, а я на воле. Папа тебе шлёт привет! Это он мне дал свою машину. Но ты уж совсем не такой худой и бледный, как говорил Герчаков.

— Кто?

— Герчаков! Ну, майор из НКВД, который с тобой разговари-

вал! Он заходил к нам часто. Ты знаешь, у него несчастье: пошёл он на Днепр купаться — бултых в воду! А часы-секундомер с руки не снял. У него часы хорошие — ещё в двадцать четвёртом ему на работе подарили. Они и стали. Отнёс — починили. Опять стали. Так он чуть не плачет. Это, говорит, я всё распутывал ваши дела, заработался... Вот тебе и прыгнул!.. Послушай! Вот я тебе привезу фонарик. Моё слово твёрдо.

— Славка, — настойчиво спросил я, — зачем они твоего отца убить хотели?

Славка задумался.

— Видишь ли, когда вы... — тут Славка покраснел и быстро поправился, — то есть когда они обокрали в вагоне папиного помощника, то ничего нужного в сумке они, конечно, не нашли... Ну, они рассердились...

— Славка, — ещё упрямей повторил я, — ну, не нашли, но зачем же всё-таки они хотели убить твоего отца?

— Видишь ли, он, кажется, работает над какой-то важной военной машиной... Ну, а им этого не хочется. Нет, нет! Дальше ты меня лучше не спрашивай! Я тоже однажды спросил у отца: что за машина? Вот он посадил меня с собой рядом, взял карандаш и говорил, говорил, объяснял, объяснял... Вот тут винт, тут ручка, тут шарниры, здесь шарикоподшипник. При вращении развивается огромная центробежная сила. А здесь такой металлический сосуд... Я всё слушал, слушал — да вдруг как закричу: «Папка! Что ты всё врешь? Это же ты мне объясняешь, как устроен молочный сепаратор, что стоит в деревне у бабки!» Тогда он хохотал, хохотал, а потом и я захохотал. Так вот, с той поры я уж его и сам ни о чём не спрашиваю. Нельзя! — вздохнул Славка. — Не наше пока это дело.

— Их посадили? — угрюмо спросил я.

— Кого «их»?

— Ну, этих, который дядя — и Яков.

— Но ты же... ты же убил Якова, — пробормотал Славка и, по видимому, сам испугался, не сказал ли он мне лишнего.

— Разве?

— Ну да! — быстро затараторил Славка, увидев, что я даже не вздрогнул. — Ты встал, и ты выстрелил. Но дом-то ведь был уже окружён и от калитки и от забора — их уже выследили. Тебе бы ещё подождать две-три минуты, так их всё равно бы захватили!

— Вон что! Значит, выходит, что и стрел ял-то я напрасно!

— Ничего не выходит! — вступился Славка. — Ты-то ведь этого не знал. Нет, нет! Всё выходит, что очень даже не напрасно. Да! — И Славка, смущённо пожав плечами, протянул мне завёрнутый в салфетку узелок, от которого ещё за пять шагов пахло тёплыми плюшками да ватрушками. — Это тебе бабка прислала. Я не брал. Я отказывался: «На что ему? Там и так кормят». Так разве она

слушает! «Да ты бери, бери! Так с салфеткой и бери». Подумаешь, салфетка! Знамя, что ли?

Мы распрощались. Всё ещё чуть прихрамывая, он быстро добежал до машины и махнул мне рукой.

...Славка уехал. Долго сидел я. И улыбался, перебирая в памяти весь наш разговор. Но глаза поднять от земли к широкому горизонту боялся. Знал, что всё равно налетит сразу, навалится и задавит тоска.

Как-то я сидел на террасе и задумчиво глядел, как крупный мохнатый шмель, срываясь и неуклюже падая, упрямо пытается пролететь сквозь светлое оконное стекло. И было необъяснимо, непонятно, зачем столько бешеных усилий затрачивает он на эту совершенно бесплодную затею в то время, когда совсем рядом вторая половина окна широко распахнута настежь.

Мимо меня, как-то чудно глянув и торопливей, чем обычно, пробежала через террасу из сада нянька.

Вскоре из дежурки прошёл в сад доктор. Высунулась опять нянька; она была взволнована.

— Ну, вот и хорошо! Ну, вот и хорошо! — шепнула она, не вытерпев. — Вот и за тобой, милый, из дому приехали.

Как из дому?.. Валентина? Вот это новость!

Я запахнул халат и вышел на крыльцо.

Резкий крик вырвался у меня из ещё не окрепшего горла. Я кинулся вперёд и тут же зашатался, поперхнулся, ухватился за перила. Кашель душил меня, в горле резало. Я затопал ногами, замотал головой и опустился на ступеньки.

По песчаной дорожке шёл доктор, а рядом с ним — мой отец. Мне сунули ко рту чашку воды со льдом, с валерианкой, с мятой; тогда наконец кашель стих.

— Ну, можно ли так кричать? — укорил меня доктор. — Ты бы вскрикнул шёпотом, потихоньку... Горло-то у тебя ещё слабое.

Вот мы и рядом. Я лежу. Лоб мой влажен. Я ещё не знаю, счастлив я или нет. Пытливо смотрю я на отца, хмурюсь, улыбаюсь. Но я очень осторожен, я ещё ничему не верю.

И я ему говорю:

— Это ты?

— Да, я!

Голос его. Его лицо. На висках, как паутина, лёгкая седина. Чёрная гимнастёрка, галифе, сапоги. Да, это он!

И я осторожно спрашиваю:

— Но ведь тебя...

Он сразу понимает, потому что, улыбнувшись — вот так, по-своему, как никто, а только он — правым уголком рта, — отвечает:

— Да! Я был виноват! Я оступился. Но я взрывал землю, я много думал и крепко работал. И вот меня выпустили...

— И теперь ты...

— И теперь я совсем свободен.

— И тебя выпустили так задолго раньше срока? — бормочу я.

— Я взрывал землю, — настойчиво повторяет отец. — Верно! Я старый командир, сапёр. Я был на германской с четырнадцатого и на гражданской с восемнадцатого. Верно! Ну, так за эти два года я забурил, заложил и взорвал земли больше, чем за все те восемь. (Вот, я вижу, он опять улыбается, шире, шире. Сейчас, конечно, дотронется рукой до подбородка. Есть!) — И доканчивает: — Но и она мне, земля, кое-что вдолбила в голову крепко!

Я смотрю на его левую руку: большого пальца до половины нет. Смотрю на голову: слева, повыше виска, шрам. Раньше его не было. Я спрашиваю:

— Это что?

Он треплет меня по плечу:

— Это вода шла на нас в атаку, а мы динамитом заставили её свернуть в сторону.

— И ты был...

— А я был бригадиром подрывной бригады.

...Вот и всё! Нет, не всё. Теперь мой черёд. Теперь должен говорить я. Всё вспоминать и объяснять, издали, с самого начала.

Но отец сразу же меня перебивает:

— Ты уж молчи! Я всё сам знаю.

Счастье! Вот оно, большое человеческое счастье, когда ничего не нужно объяснять, говорить, оправдываться и когда люди уже сами всё знают и всё понимают.

Я с благодарностью сжимаю его руку, и мне хочется её поцеловать. Но он тихонько её выдёргивает и крепко жмёт мою.

Больше об этих делах друг у друга мы не спрашиваем. Конечно. Пройдено. Прожито. Крест.

В висках постукивает. И вдруг налетает догадка, и я почти кричу:

— Папа! А где ты теперь живёшь?..

— У Платона Половцева. Он пока уступил мне одну комнату. А дальше будет видно. Теперь мы не пропадём.

— ГО-48-64! Так это ты меня искал? Так вот он откуда, загадочный московский телефон!

— Да. Я приехал как раз после твоего отъезда, через неделю.

Я отталкиваю его руку и поднимаю с подушки голову:

— Ты пусти, папа. Я встану. Мне хорошо!

Мы в самолёте на пути к Москве. Там нас должна по телеграмме встретить Нина. Вероятно, она будет с отцом.

Широки поля. Мир огромен. Жизнь ещё только начинается. И

что пока непонятно, всё потом будет понятно. Мотор гремит, а мне весело. Я толкаю отца локтем и, чтобы он меня расслышал, громко кричу:

— Папа, а всё-таки «Жаворонок» — это не солдатская песня!

Он, конечно, сейчас же хмурится:

— А какая же?

— Да так! Просто человеческая.

— Ну и что же, человеческая! А солдат не человек, что ли?

Он упрям. Я знаю, что нет для него ничего святей знамён Красной Армии, и поэтому всё, что ни есть на свете хорошего, это у него — солдатское.

А может быть, он и прав!

Пройдут годы. Не будет у нас уже ни рабочих, ни крестьян. Все и во всём будут равны. Но Красная Армия останется ещё надолго. И только когда сметут волны революции все границы, а вместе с ними погибнет последний провокатор, последний шпион и враг счастливого народа, тогда и все песни будут ничьи, а просто и звонко — человеческие.

Мы подлетаем к Москве в сумерки. С волнением вглядываюсь я в смутные очертания этого могучего города. Уже целыми пачками вспыхивают огни.

И вдруг мне захотелось отсюда, сверху, найти тот огонёк от фонаря шахты, что светил ночами в окна нашей несчастливой квартиры, где живёт сейчас Валентина и откуда родилось и пошло за нами наше горе.

Я говорю об этом отцу. Он склоняется к окошку.

Но что ни мгновение, огней зажигается всё больше и больше. Они вспыхивают от края до края прямыми аллеями, кривыми линиями, широкими кольцами. И вот уже они забушевали внизу, точно пламя. Их много, целые миллионы! А навстречу тьме они рвались новыми и новыми тысячами.

И отыскать среди них какой-то один маленький фонарик было невозможно... да и не нужно!

Самолёт опустился на землю. Взявшись за руки, они вышли и остановились, шурясь на свету прожектора.

И те люди, что их встречали, увидели и поняли, что два человека эти — отец и сын — крепко и нерушимо дружны теперь навеки. На усталые лица их легла печать спокойного мужества. И, конечно, если бы не яркий свет прожектора, то всем в глаза глядели бы теперь они прямо, честно и открыто.

И тогда те люди, что их встретили, дружески улыбнулись им и тепло сказали:

— Здравствуйте!